



ЖАУМЕ КАБРЕ

Голоса Памано

От автора шедевра «Я исповедуюсь».
Роман «Голоса Памано» уже переведен на 16 языков
и только в Европе вышел тиражом
более 500 000 экземпляров.
Впервые на русском!

Большой роман

Жауме Кабре
Голоса Памано

«Азбука-Аттикус»

2004

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

Кабре Ж.

Голоса Памано / Ж. Кабре — «Азбука-Аттикус»,
2004 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-13924-4

На берегах горной реки Памано, затерявшейся в Пиренеях, не смолкают голоса. В них отзвуки былых событий, боль прошлого и шум повседневности. Учительница Тина собирает материал для книги про местные школы, каменотес Жауме высекает надписи на надгробиях, стареющая красавица Элизенда, чаруя и предавая, подкупая и отдавая приказы, вершит свой тайный суд, подобно ангелу мести. Но вот однажды тетрадь, случайно найденная в обреченной на снос школе, доносит до них исповедь человека, которого одни считали предателем и убийцей, другие мучеником. Так кто же он на самом деле – этот Ориол Фонтельес, сельский учитель? И какую надпись нужно теперь высечь на его надгробной плите?..Впервые на русском!

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

ISBN 978-5-389-13924-4

© Кабре Ж., 2004
© Азбука-Аттикус, 2004

Содержание

Часть первая	7
Часть вторая	28
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Жауме Кабре Голоса Памано

Посвящается Маргариде

Отче, не прощай им, ибо они ведают, что творят.
Владимир Янкелевич

Jaume Cabré
LES VEUS DEL PAMANO
Copyright © Jaume Cabré, 2004
All rights reserved
First published in Catalan by Raval Edicions, SLU, Proa, 2004
Published by arrangement with Cristina Mora Literary & Film Agency (Barcelona, Spain)

The translation of this work was supported by a grant from the Institut Ramon Llull.

Перевод с каталанского Елены Зерновой
Оформление обложки Вадима Пожидаева
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© Е. Зернова, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017 Издательство ИНОСТРАНКА®

0

Прикосновение к двери было едва слышным. Словно кто-то нежно погладил ее. Дверь бесшумно открылась (рука в перчатке придержала ручку, чтобы не допустить ни малейшего скрипа) и с едва уловимым вздохом закрылась. Темная тень тихо скользнула среди обычных теней дома. Привыкшие к ночи глаза Юрия пристально следили за ней. Незваный гость прошел в кабинет. Оконные жалюзи там были подняты, и он чертыхнулся про себя. По другую сторону окна снег, принесенный внезапным фронтом полярного воздуха, окутывал окрестный пейзаж могильным холодом, усугубляя безмолвие ночи. Даже шума реки не было слышно. Пришелец предпочел не опускать жалюзи, поскольку никто не должен был ни в коем случае узнать, что этой ночью он проник в дом.

С тягостным вздохом гость сел за компьютер, поставил портфель на пол рядом со стулом и нажал кнопку системного блока. Его внимание привлек безупречный порядок на рабочем столе, и он подумал, что это облегчит ему работу. Юрий бесшумно последовал за пришельцем в кабинет и, встав в дверях, молча наблюдал за ним. Голубоватое мерцание экрана заполнило комнату, и сидевший возле него человек подумал, что ему совсем не хотелось бы, чтобы это тусклое холодное сияние проникло на пустынную улицу и в другие помещения дома. На бумажке, прилепленной сбоку от экрана, было написано: «Доброе утро! Еда в шкафчике над холодильником. Спасибо за все!» Он начал просматривать папки. Потом вытащил из кармана куртки упаковку дискет и, запасшись терпением, приступил к копированию архивных файлов. Где-то в другом конце здания кто-то закашлял; пришелец представил себе, как соседи снизу возвращаются с какой-нибудь безумной вечеринки, умаявшиеся, обессиленные, бормоча про себя, что это оголтелое веселье уже не для них. Ночную тишину нарушил звук проехавшей

мимо машины, которая из-за снега двигалась резко и неровно. Ну почему, когда спешешь, эти компьютеры работают так медленно? И почему они так шумят, если производители уверяют, что они бесшумны? Внезапно зазвонил телефон; пришелец выключил компьютер, хотя загрузка была в самом разгаре, и застыл как вкопанный, чувствуя, что по носу стекает капля пота. Он не вытирал ее, потому что перестал существовать. В квартире, однако, по-прежнему было тихо.

– Сейчас я не могу подойти к телефону. Оставьте сообщение после короткого сигнала.

– Послушай, рано утром я не смогу заехать. Понимаешь, у нас появился еще один заказ на плитняк в Тремпе, и дочка настаивает, чтобы я ехал. Но ты не беспокойся, я заеду ближе к полудню, до обеда. Пока. Удачи и целую тебя. Я обязательно приеду тебя навестить. Ах да! Ты права: журчание Памано действительно слышно.

Бип-бип. Пока. Мужской голос с горным пальярским выговором, охрипший от табака и кофе и самым обычным тоном говоривший о планах на завтрашний день. Незнакомец выждал несколько секунд: вдруг откроется какая-нибудь дверь. Нет. Никого. К счастью, Юрий решил не выдавать себя и продолжал неподвижно стоять в дверях. Когда отзвук телефонного звонка растаял в воздухе и шорох снежных хлопьев, мягко опускавшихся на окрестности, вновь стал различим, незнакомец позволил себе легкий вздох и снова включил компьютер.

Толком не понимая, что делать, Юрий отошел от двери и на какое-то время укрылся в гостиной, прислушиваясь к малейшим шорохам, доносившимся из кабинета.

Пришелец возобновил свою работу. Довольно быстро он заполнил пять дискет, переписав файлы из папок с инициалами О. Ф. и еще несколько на всякий случай. Потом отправил сами файлы в корзину и очистил ее, убедившись, что от электронных документов не осталось никакого следа. Наконец вставил в системный блок еще одну дискету, на этот раз с вирусом, затем извлек ее и выключил компьютер.

После этого пришелец зажег фонарик и зажал его во рту, чтобы освободить руки. Ему не доставило никакого труда опустошить три интересующие его папки из настольного лотка для бумаг. Там были документы, фотографии, пластиковые папки с бумагами. Он положил все в портфель и поставил лоток на место. На полу возле стены стоял красный чемоданчик. Он открыл его. Судя по всему, в нем лежали вещи, собранные для поездки. Пришелец тщательно исследовал содержимое: ничего интересного. Он закрыл чемоданчик и оставил в том виде, в каком обнаружил. Перед уходом он решил на всякий случай проверить все ящики стола. Чистые листы бумаги, блокноты, школьные тетради. И коробка. Едва он ее открыл, как лоб у него покрылся холодной испариной. И тут ему показалось, что в другом конце жилища раздался тягостный вздох.

Гость закрыл входную дверь, твердо зная, что не оставил никаких следов своего пребывания в этом доме, что потратил на всю работу не более четверти часа, так что чем дальше отсюда его застанет рассвет, тем лучше.

Едва оставшись один, Юрий вошел в темный кабинет. Здесь все, казалось, было по-прежнему, но его не покидало чувство тревоги. Гнетущее ощущение, что он, похоже, оказался не на высоте положения.

Часть первая

Полет зеленушки

Имена, покоящиеся под цветами.
Жоан Виньоли

В девять часов утра тридцатого дня марта две тысячи второго года от Рождества Христова, в день желанный и долгожданный, взоры множества верующих из всех уголков мира, что собрались в этот час на площади Святого Петра в Ватикане, жадно устремлены на нарядно убранное окно, из которого его святейшество вскоре произнесет торжественное благословение «Urbí et orbi». Хотя весна уже началась, стоит пронизывающий холод, который коварный ледяной ветер принес из-за Тибра: проложив себе путь по виа делла Кончилиационе, он решительно и победоносно проник на площадь, вознамерившись, по всей видимости, остудить пыл сердец, предвкушающих появление понтифика. Повсюду видны обязательные в таких случаях платки, извлеченные из карманов то ли по причине внезапно напавшего на всех насморка, то ли из-за нахлынувших эмоций. И вот легкое движение в окне, внезапно возникшее отражение в стеклах балкона, ставни которого открываются внутрь. Микрофон, священник, угодливо устанавливающий его на нужную высоту, и согбенная, облаченная в безупречно белые одежды фигура его святейшества Иоанна Павла II, произносящего слова, которые никто из присутствующих не в состоянии разобрать, хотя народ на площади застыл в полной тишине. И наконец благословение. Шесть монахинь из Гвинеи, преклонив колени на мокрой мостовой, рыдают от счастья. Возглавляемая отцом Рельей группа, удачно расположившаяся прямо напротив папского балкона, хранит абсолютное молчание, возможно несколько неловкое на фоне суеверных излияний некоторых богомольцев, которые вздымают вверх руки с четками, покрывают щеками образки с изображением папы за пол-евро или делают фотографии, призванные увековечить сей торжественный момент. Отец Релья делает сдержанный жест, как бы говорящий «вот уж заставь дурака Богу молиться...», и смотрит на часы. Следует поспешить, через полчаса им надо быть на пьядца дель Сант-Уффицио. Тотчас после благословения, как только фигура папы, увлекаемого с балкона врачами, скрывается из виду, отец Релья поднимает вверх руку и указывает своей группе нужное направление, приготовившись с помощью красного зонтика пробивать им путь по главной площади Ватикана сквозь всю эту чащу богомольцев. Составляющие группу – пятьдесят женщин и тринадцать мужчин, словно единое существо, решительно движутся вслед за зонтиком. Основная же масса собравшихся ходит кругами по площади, будто людям жаль покидать место, о котором они столько раз грезили во сне.

Лимузин с тонированными стеклами неслышно, по-кошачьи проскальзывает по виа Порта-Анжелика, поворачивает направо и останавливается у контрольного пункта на виа дель Бельведере. Двое мужчин с наушниками, рациями, в черных очках и белых воротничках склоняются с двух сторон к окошечкам машины, стекла которой опускаются синхронно и элегантно, подобно выверенному движению век. Мужчины тут же выпрямляются и знаком показывают, что автомобиль может проезжать. Тем не менее один из них быстрым шагом сопровождает машину до места, где она должна припарковаться, на виа делла Поста. От стены отделяется ватиканский привратник, который почтительно открывает правую дверцу лимузина. У дверей Апостольского дворца швейцарский гвардеец, облаченный в костюм янычара, изображает полное безразличие к окружающему миру, устремив пристальный взгляд на здание, словно в надежде раскрыть какие-то постыдные тайны сего закрытого от посторонних глаз места. Из лимузина показываются изящные ножки, обутые в безупречные черные туфли с серебряными пряжками, и деликатно касаются земли.

В полном соответствии с протоколом праздничных мероприятий в соборе Святого Петра в Ватикане отслужат мессу, на которой в полном составе будет присутствовать Конгрегация обрядов. Всех специальных гостей предусмотрительно просили явиться за три часа до начала церемонии, дабы избежать любых непредвиденных случайностей, ибо если чему и научилась Римско-католическая апостольская церковь на протяжении веков, так это виртуозно придумывать, организовывать и проводить любого рода церемонии с обязательным соблюдением четко выверенной степени пышности, соответствующей важности и значительности каждого акта.

Облаченная в строгие черные одежды, худая и, несмотря на свои восемьдесят семь лет, удивительно прямая дама в скромной, но весьма элегантной шляпе ждет, когда сын и сопровождающие его члены семейства подойдут к ней. С некоторым недовольством и досадой она старается не обращать внимания на гул, царящий на площади, где толпится народ. Газуль решает какие-то вопросы с капралом, вышедшим вслед за привратником.

– Куда делся Сержи, – дама произносит эти слова, сурово глядя прямо перед собой и не удосужившись придать вопросу соответствующую интонацию.

– Да вот он, здесь, мама, – сухо отвечает Марсел. – Где же ему быть?

Сержи отошел немного в сторону и зажег сигарету, предвидя, что там, внутри, ему ни за что не позволят закурить.

– Я его не слышу.

– Ну да, ты же не удосужилась обратиться с вопросом непосредственно к нему, а не в пространство, думает Мерче, которая никак не может стереть с лица злобное выражение, приклеившееся к нему еще ранним утром. Но ведь ты никогда не задаешь конкретных вопросов конкретным людям и никогда не поворачиваешь головы в сторону человека, к которому обращаешься, поскольку не хочешь, чтобы на шее появлялись морщины, и потому что уверена, что в конце концов люди все равно сами подойдут к тебе.

– Ну что? – спрашивает дама Газуля.

– Все в порядке.

Группа из пяти человек под контрольным номером 35Z входит в двери палатки за три часа до начала церемонии.

Просторный зал Святой Клары мягко освещает приглушенный свет, проникающий сквозь стекла трех балконов, выходящих в широкий внутренний двор, по которому торопливо прохаживается мужчина с яркой желтой лентой, наискось пересекающей его грудь; перед ним услужливо семенит человечек в гражданской одежде, который, вытянув вперед руку, указывает на дверь. Напротив балконов – огромная темная полусфера, демонстрирующая познания о Земле, коими человечество обладало в семнадцатом веке. Рядом – концертный рояль, весьма неожиданный предмет в подобной обстановке; он словно задумчиво дремлет, как это происходит со всеми музыкальными инструментами, когда они умолкают.

Ответственный за протокол сухопарый мужчина, облаченный, как и дама, во все черное, скорее всего священнослужитель, намеренно бормочет что-то по-итальянски, прекрасно отдавая себе отчет в том, что его могут не понять; он говорит вновь пришедшим, чтобы они чувствовали себя как дома, что теперь остается только ждать начала церемонии и что туалет, расположенный за дверью рядом с роялем, находится в их полном распоряжении. Не успели они расположиться, как в зал вошла средних лет женщина, по всей видимости монашка, которая толкала перед собой тележку, наполненную всевозможными закусками и сугубо безалкогольными напитками, и сухопарый мужчина шепотом сообщил Газулю, что тележку уберут за час до начала акта, сами понимаете почему.

Дама садится на широкий диван, плотно сдвинув ноги, и устремляет созерцательный взгляд вглубь зала в ожидании, что остальные последуют ее примеру. В глубине души она испытывает самое сильное напряжение, какое только может выдержать ее хрупкое тело, но никоим образом не может позволить, чтобы ее сын, бывшая невестка, безучастно слоняющийся возле

балконов внук и адвокат Газуль заподозрили, как она нервничает, какую тревогу испытывает, сидя на удобном диване в просторном зале Святой Клары в Апостольском дворце Ватикана. Дама знает, что после сегодняшнего дня она наконец сможет позволить себе спокойно умереть. Подносит руку к груди и нащупывает свисающий с шеи крестик. Она знает, что сегодня завершаются шестьдесят лет ее неизбывной муки, и не желает признаться самой себе, что, возможно, лучше ей было бы прожить совсем иную жизнь.

1

В день, когда его имя было предано забвению, на улицу вышло совсем немного народу. И даже если бы не было дождя, вряд ли было бы больше людей, ибо все предпочли продемонстрировать свое полное безразличие к происходящему, хотя, разумеется, потихоньку, из какого-нибудь неприметного окошка или из-за садовой изгороди, следили за церемонией, воскресившей в памяти столько слез и горя. Алькальд принял решение проводить мероприятие несмотря на дождь; он, разумеется, никому не сказал, что истинная причина сего приступа политического рвения кроется в том, что на два часа он назначил встречу с клиентом в Сорте и у него слюнки текут при одной мысли об отменном вязком рисе с овощами, ожидающем его в таверне Ренде. Но он был истинным представителем семейства Бринге, а посему хотел продемонстрировать всей деревне, включая обитателей дома Грават, что ввиду своей исключительной важности церемония состоится в любом случае, даже если дождь будет лить как из ведра. Итак, при смене вывесок присутствовали алькальд, члены муниципального совета, секретарь и два волонтера в лице заблудившихся туристов, которые, укрывшись под глянцевыми дождевиками, не понимая толком, что происходит, не преминули сфотографировать диковинные обычаи обитателей высокогорья; кроме того, там были Серральяк (как же без него?) и сеньора Басконес, хотя никто так и не понял, что ей, черт возьми, делать на подобном мероприятии. Френоко-лопексия. Жауме Серральяк изготовил четыре великолепные таблички из светло-серого мрамора, такие изысканные, что они вполне могли бы оказать честь гораздо более выдающимся улицам, более крепким стенам и более элегантному населенному пункту. «Улица Президента Франсеска Масии» заменит «Улицу Генералиссимуса Франко». Вместо «Улицы Хосе Антонио» появится «Главная улица», «Главная площадь» перестанет быть «Площадью Испании», а «Средняя улица» займет место «Улицы Фалангиста Фонтельеса». Поскольку все было заранее подготовлено, отверстия в нужных местах просверлены, а Серральяк мог делать свою работу с закрытыми глазами, ибо из-за частых смен вывесок после окончания диктатуры он давно набил руку, то дело и выеденного яйца не стоило. Правда, одна табличка, фалангиста Фонтельеса, никак не желала покидать свое место, и пришлось раскалывать ее молотком прямо на стене. Осколки печальной истории выкинули в мусорный бак напротив дома Баталья. Останки фалангиста Фонтельеса издали беспомощный глухой звук, к которому присоединился почти неслышимый стон, исходивший от суровой, неподвижно застывшей на террасе дома Грават фигуры; впрочем, стона этого не услышал никто, кроме кошек. С холма за церемонией наблюдали две пожилые, тепло одетые дамы; одна из них была совсем дряхлой. Убедившись, что Серральяк вдребезги разбил старую вывеску, они, взявшись под руку, медленно спустились по Средней улице, украдкой бросая взгляды на фасады домов, окна и двери и время от времени обмениваясь коротенькими, не предназначенными для посторонних ушей замечаниями; так они пытались скрыть смущение от осознания того, что из домов за ними исподтишка наблюдает множество глаз, тех самых, что до этого украдкой подглядывали за церемонией смены табличек на соответствующих улицах. Когда дамы дошли до мусорного бака, они заглянули в него, словно желая в чем-то удостовериться. Группа представителей власти уже удалялась по улице Франсеска Масии в сторону Главной площади, чтобы произвести последнюю из запланированных смен вывесок; было предусмотрено, что там, на площади, сеньор алькальд произнесет

несколько слов о духе примирения, побудившего граждан проявить инициативу по восстановлению исторических названий. Теперь, когда многострадальная улица наконец переименована и на ней воцарилась привычная тишина, у жителей Торены больше не будет повода вспоминать об Ориоле; и все дома этой высокогорной деревушки вздохнули с облегчением, поскольку наконец-то был ликвидирован важнейший символ, возбуждавший раздор и вражду. И никто, кроме хрупкой тени, что на террасе дома Грават в тот момент протирала очки, думая про себя вот увидите, хорошо смеется тот, кто смеется последним, никто в деревне с тех пор больше не вспоминал об Ориоле Фонтельесе. Никто... пока спустя двадцать четыре года, решив в преддверии двадцать первого века привести селение в более-менее приличный вид, власти не заговорили о сносе одинокого и никому теперь не нужного здания старой школы.

Как и следовало ожидать, директриса школы в Сорте поручила Тине Брос отправиться в Торену и досконально проинспектировать здание старой школы, поскольку они готовили выставку, посвященную эволюции учебных пособий, и надеялись на интересные находки в предназначенном к сносу здании. Ну, какой-нибудь старый школьный материал и все в таком роде. Поскольку помимо этого Тина работала над близкой по теме книгой, то именно ее и послали провести официальную экспертизу сохранившегося хозяйства старой школы. А это означало, что Тине, голова которой была занята совсем иными проблемами, через три дня после своего первого посещения пришлось поневоле вновь ехать в Торену на своем допотопном красном «ситроене». Она, разумеется, не могла знать, что припарковалась под табличкой, которая двадцатью пятью годами ранее восстановила историческое название Средней улицы. Заглянув в мэрию, Тина попросила дать ей ключи от школы, но там ответили, что они у строителей, которые уже работают на объекте, и когда она подошла к школьному зданию, крайнему в деревне, если идти по дороге к холму Триадор, то увидела, что рабочие уже начали разбирать кровлю, снимая одну за другой черепичные плитки. Недолго думая, она вытащила маленький фотоаппарат с высокочувствительной пленкой и, воспользовавшись зыбким светом опускавшихся сумерек, сделала три снимка дома. При этом постаралась, чтобы ни в один из них не попали оседлавшие крышу рабочие. Может быть, парочка снимков пригодится ей для будущей книги. Может быть. К счастью, рабочие начали слом здания с той части, где располагались туалеты. Поэтому Тина успела тщательно проинспектировать оба шкафа в классной комнате, изрядно перепачкавшись в накопившейся за долгие годы вязкой черной пыли, приговорить к уничтожению старые ненужные бумаги, помиловать дюжину книг, основывающихся на доисторической педагогике, но представляющих собой определенный интерес для выставки, и вдоволь наслушаться ударов кувалды, приговаривающих здание к исчезновению. Весь спасенный материал свободно поместился в картонную коробку, которую она предусмотрительно захватила с собой из Сорта. Закончив, она надолго замерла в полной неподвижности, уставившись широко раскрытыми глазами в окно и спрашивая себя, следует ли считать то, что она намеревается сделать, после того как покинет школу, недостойным посягательством на свое достоинство. Ну конечно же, это посягательство; однако Жорди не оставил ей другого выхода. Она простояла еще пару минут, в задумчивости приоткрыв рот: да, другого выхода у нее нет. Ну почему Жорди такой, почему Арнау такой, боже мой, почему? Почему в доме никогда ничего не обсуждается, почему они такие упрямые, почему Арнау с каждым разом отдаляется от нее все больше и больше, иногда даже позволяя себе пропадать из дома на несколько дней, невнятно что-то цедя сквозь зубы в ответ на вопрос, с кем он был? Эти горькие мысли долго крутились у нее в голове, унося куда-то вдаль, пока она наконец, вздохнув, не отвела взгляд от окна и не оказалась вновь в пустой школе Торены. Она сделала над собой усилие, чтобы хоть какое-то время не думать о них, особенно о Жорди. И тогда ей пришло в голову открыть ящики учительского стола. В первом из них, помимо вороха невидимых воспоминаний, все еще сохранилась стружка от карандаша, который, видимо, точили когда-то давным-давно. В

двух других не осталось ничего, даже воспоминаний. По ту сторону грязных стекол день лениво двигался к своему завершению, и только в этот момент Тина вдруг отдала себе отчет в том, что уже давно не слышит ударов кувалды.

На классной доске лежал кусочек полуисписанного мела. Тина взяла его и не смогла устоять перед соблазном воспользоваться им; четким почерком школьной учительницы она написала дату: «Среда, 13 декабря 2001 года». И повернулась лицом к классу, словно за обшарпанными партами сидели дети и она собиралась объявить им план урока. И тут же застыла с открытым ртом, потому что напротив нее, подпирая дверь в классную комнату, застыл, тоже с открытым ртом, небритый рабочий с сигаретой в зубах, коробкой из-под сигар в одной руке и газовой лампой в другой. Он первым вышел из оцепенения:

– Сеньорита... Мы уходим, потому как уже ничего не видно. Ключ вы отдадите?

Держа лампу перед собой, он подошел к ней, осветив стол и доску; из кармана его белых от пыли джинсов свешивалась связка ключей. У Тины возникло ощущение, что перед ней ученик, который подошел сдать ей тетрадку, а она – учительница этой школы. Рабочий поставил на стол коробку из-под сигар:

– Это было за доской.

– За этой доской?

Рабочий подошел к доске и, хотя она казалась вделанной в стену, потянул ее вбок; со скорбным стоном доска переместилась на пару пядей вправо, обнаружив маленькую темную нишу в стене. Мужчина поднес к ней лампу:

– Вот здесь.

– Будто сокровище какого-нибудь пирата.

Рабочий вновь потянул за доску и вернул ее на место.

– Там тетради ребятишек, – сказал он. И дважды похлопал по коробке. Это была хорошо сохранившаяся коробка для сигар, перетянутая черным шнурком.

– Я могу ее взять?

– Я собирался ее выкинуть.

– Вы не оставите мне газовую лампу?

– Если вы здесь останетесь, то окоченеете от холода, – предупредил ее мужчина, протягивая лампу.

– Я тепло одета. А за лампу спасибо.

– Когда будете уходить, закройте дверь на ключ, а горелку оставьте на пороге, и завтра мы ее заберем.

– Сколько времени понадобится вам для сноса этого здания?

– Да завтра же все и закончим. Сегодня мы занимались только подготовкой. Работа несложная.

Он простился с ней на манер морского офицера, небрежно поднеся палец к виску. Потом резко захлопнул дверь, и голоса бригады постепенно растаяли за грязным окном; в школе воцарилась такая тишина, что еще немного, и можно было бы услышать, как кашляет Элвира Льюис, девочка, сидевшая за первой партой и скончавшаяся от чахотки пятьдесят шесть лет тому назад. Тина огляделась. В свете газовой горелки бродили какие-то неведомые тени. Да, работа несложная, подумала Тина. Сколько же детей научились здесь читать и писать? И все это будет разрушено в один день, грустно вздохнула она.

Она вернулась к столу и убедилась в том, что рабочий был совершенно прав: классная комната была настоящим морозильником. И дневной свет уже совсем померк. Она поставила лампу на учительский стол и вспомнила о пиратских сокровищах. Только представь себе, ведь они могли снести школу со спрятанными в ней алмазами, подумала Тина. Осторожно развязала шнурок и подняла крышку: алмазы оказались тетрадками голубого или светло-зеленого цвета (в полутьме было не разглядеть), со словом «Тетрадь» на обложке, набранным черным типо-

графским шрифтом. Детские тетради. Две, три, всего четыре. А все-таки жаль, что не алмазы, вздохнула она. И вдруг, как это с ней бывало уже не раз, почувствовала резкий точечный укол в грудь.

Она открыла одну из тетрадей, и ее внимание сразу привлек аккуратный, четкий, разборчивый почерк, которым были заполнены сверху донизу все страницы тетрадок. И в каждой – какая-то иллюстрация. В первой – мужское лицо. Тина не могла этого знать, но это был автопортрет, который Ориол сделал перед зеркалом в школьном туалете. Мужчина с печальным взглядом. Во второй тетради – дом с надписью внизу: «Дом Грават». В третьей, ну-ка... похоже, церковь. Ну да, торенская церковь Сант-Пере. И пес, похожий на спрингер-спаниеля, с самым меланхоличным взглядом, какой только Тине доводилось видеть в своей жизни; возможно, его звали Ахилл. А в последней тетради – набросок женского лица, многократно измененный и исправленный, но так и оставшийся незаконченным: не хватало губ, а глаза были пустыми, как на мраморных кладбищенских статуях, которыми торговал в своей мастерской Серральяк. Она села на стул и вдруг осознала, что из-за холода ее дыхание превращается в густое облако пара, которое словно пытается утаить от всех ее находку, эти четыре тетради. Где же она слышала это имя? И ведь совсем недавно. Да, его явно где-то упоминали совсем недавно.

Тина Брос с интересом и любопытством принялась за чтение, даже не догадываясь, что ее ждет впереди. Она начала читать с первой страницы, с обращения: *Дорогая моя доченька, я не знаю, как тебя зовут, но знаю, что ты существуешь, потому что видел твою ручку, маленькую и нежную. Мне бы хотелось, чтобы, когда ты вырастешь, кто-нибудь передал тебе эти строки, потому что я хочу, чтобы ты их прочла... Меня очень пугает то, что люди могут тебе рассказать обо мне, особенно твоя мать...*

В половине девятого свет газовой лампы начал мигать, возвещая о том, что скоро потухнет, и только тогда Тина вскинула голову, словно возвращаясь из другого мира. Она совершенно продрогла: да, было в высшей степени неблагоприятно остаться здесь, в промозглой пустой аудитории. Женщину сотрясала дрожь. Она закрыла мягкую обложку тетради и медленно выдохнула воздух, словно на протяжении всего чтения задерживала дыхание. Было очевидно, что тетради совсем не подойдут для выставки, которую хочет организовать Майте. Она сложила их обратно в коробку для сигар, перевязала ее черным шнурком, положила в большой внешний карман куртки и приготовилась покинуть школу, в которой, как ей теперь казалось, прожила более пятидесяти лет.

Она оставила лампу там, где велел рабочий-моряк, зашла в мэрию, чтобы вернуть ключ, и отправилась к мраморной табличке, сообщавшей о том, что эта улица называется Средней. Старенький «ситроен» верно ждал ее на своем месте, слегка припорошенный девственно-чистым снегом, защищавшим его от меланхолии хозяйки.

Шоссе, ведущее в Сорт, было пустынным и холодным. Тине не хотелось останавливаться и надевать цепи на колеса, и она двигалась медленно, в такт своим мыслям, оцепеневшим как от школьного холода и прочитанных страниц, так и от неумолимо надвигавшейся ночи. Граффити весьма радикальной эстетики, красовавшееся на старой подпорной стене у поворота на Пендис на границе торенского района, извещало о том, что на горе Тука-Негра производится вырубка деревьев, необходимая для продления трассы. В школе уже никого не было. Тина оставила картонную коробку с пояснительной запиской в кабинете Майте и стремительно выскочила из школы: ей всегда было страшно бродить одной по темным коридорам здания, когда оно пустело. Словно холод, окутывавший безлюдную школу, мог породить жутких призраков. Старенький «ситроен» благополучно довез ее до отдаленной придорожной гостиницы. Снег здесь еще не выпал. Коробка из-под сигар с четырьмя тетрадками по-прежнему лежала на пассажирском сиденье. Тина сочла, что гораздо разумнее будет припарковаться не на стоянке хостела, а прямо на шоссе, плотно прижавшись к обочине; она заглушила мотор, выключила

свет и на какое-то время неподвижно застыла, устремив взгляд на освещенную дверь гостиной. Снег, будто только и ждал этого момента, начал бесшумно и опасливо опускаться на землю. Тина оцупала соседнее сиденье, чтобы убедиться, что коробка для сигар на месте. Как она ни старалась, ей не удавалось расслышать мягкий шорох снежных хлопьев, покрывавших все вокруг белой пеленой.

Было холодно. Пару раз она выходила из машины, чтобы очистить лобовое стекло, стараясь не терять из виду дверь хостела. Она предпочла не включать печку, потому что в окружавшей ее магической тишине бархатной конфетной коробки даже река несла свои воды совершенно бесшумно, и шум мотора сразу оповестил бы Жорди о том, что она здесь.

Выйдя в последний раз из машины, чтобы потопать ногами и немного согреться, она скребком счистила лед с лобового стекла и залепила свежеснеженным номерной знак. Одно дело – признаться самой себе, что твоему достоинству нанесен невосполнимый урон, и совсем другое – чтобы об этом узнали другие. Нос у нее совсем заледенел.

Вновь оказавшись в автомобиле и по-прежнему не отводя взгляда от освещенных дверей хостела, откуда за все это время вышли лишь два незнакомых ей человека, она рукой в перчатке бережно коснулась коробки из-под сигар.

– Что ты сказал?

– Ты все прекрасно слышала.

Раскрыв рот от удивления, а может быть, от испуга, Роза почувствовала, что сердце у нее бешено заколотилось. Ей стало дурно, и она поспешила вернуться в кресло-качалку. Неслышно прошептала:

– Почему?

– Здесь все подвергаются опасности.

– Нет, кто действительно в опасности, так это мальчик.

– Я делаю все, что могу.

– Ни черта ты не делаешь. Сходи, поговори с сеньорой Элизендой.

– Зачем?

– А разве тебе не хочется ее увидеть? – с язвительной интонацией, явно желая уколоть. – Разве ты не пускаешь слюни всякий раз, когда ее встречаешь? Ведь у нее такое выразительное лицо, такие загадочные глаза...

– Да что ты такое говоришь?

Роза как ни в чем не бывало посмотрела в окно и сказала усталым голосом:

– Ты единственный человек во всей деревне, которого она послушает.

– Сеньора Элизенда ничего не может сделать.

– В этой деревне все делается по ее указке.

– Ну так что?

Роза перевела взгляд на Ориола, пристально глядя ему в глаза, словно в надежде вывести тайную суть взглядов, которыми он обменивался с сеньорой Элизендой, когда оставался с ней наедине. Ориол собирался что-то сказать, когда раздался колокольный звон, призывавший к вечерней службе. Какое-то время они хранили молчание, будто произнося про себя молитву, хотя они никогда не предавались подобному занятию, даже в такие жестокие зимы, как эта. И раньше, чем колокола замолкли, Роза взорвалась:

– Если ты ничего не сделаешь, я вернусь в Барселону!

– Ты не можешь меня бросить.

– Ты трус.

– Да, я трус.

Роза инстинктивно поднесла руку к животу и сказала изможденным голосом я не хочу, чтобы наша дочь знала, что ее отец трус и фашист.

- Я не фашист.
- А какая разница между этим сукиным сыном алькальдом и тобой?
- Не кричи, нас услышат!
- Он делает, а ты не противишься.
- Послушай, я ведь всего лишь школьный учитель.
- Ты мог бы заставить алькальда поступать так, как считаешь нужным ты.
- Это невозможно. Ну а кроме того, я боюсь. Этот человек внушает мне страх.
- Ты должен помешать тому, что может случиться с Вентуретой.
- Я не могу. Клянусь тебе, он меня не слушает.

Роза в последний раз взглянула ему в глаза. Потом отвернулась, слегка качнулась в кресле и вновь устремила взгляд в окно. Мысленно она прощалась с мужем, размышляя над тем, как могло такое произойти, и проклиная день, когда им взбрело в голову согласиться на работу в этом чудном местечке, где, как свидетельствовала энциклопедия, поголовье коров и овец достигло весьма значительных цифр и где им вдвоем будет очень хорошо, поскольку у них окажется вдоволь времени для того, чтобы читать и любить друг друга, ведь больше им ничего не нужно. Она вспомнила, как после долгих раздумий сказала тогда: все, Ориол, решено, мы едем в Торену. И вот теперь тесто для каннеллони к празднику святого Стефана сохнет на столе. Не стоило ей замешивать тесто для каннеллони, ведь Рождество в этом году не наступит никогда, потому что кусок в горло не лезет, когда думаешь об этом бедном мальчике.

Ориол долго смотрел Розе в затылок. Потом, яростно стиснув зубы, выскочил из дома, хлопнув дверью. Но тут же вернулся, словно забыв что-то. Застыл на пороге, не отпуская ручку двери и делая над собой усилие, чтобы успокоиться. Роза продолжала смотреть на улицу, хотя на самом деле ничего там не видела: слезы застилали ей открывавшийся из окна величественный вид на долину Ассуа. Ориол взял меховую куртку и шапку и вновь вышел на улицу.

За восемь месяцев, что он работает учителем в Торене, Ориол изменился до неузнаваемости. А ведь какие надежды они связывали с переездом в эту деревню... Роза тогда была на раннем сроке беременности, и они оба никак не ожидали, что ему дадут это место: ведь он не был фронтовиком, не проходил военную службу и избежал отправки на фронт из-за проблем с желудком; они были удивлены, когда это случилось, поскольку полагали, что такие места предназначались исключительно учителям, вооруженным членским билетом Фаланги или справкой о том, что они сражались против Республики, прилепленной к тонким усикам; да, они очень удивлялись, поскольку были столь наивны, что не понимали: даже сам Господь Бог не пожелал бы получить место в школе Торены, ибо хоть Бог и родился в хлеву, но в школу-то он ходил в Назарете, где, по крайней мере, девочки и мальчики обучались отдельно и не все были крестьянскими детьми, некоторые были детьми плотников, и у них были приличные дома и дворы с подобающим образом выкрашенной оградой.

Она смотрела в окно, но не видела площади. Это Валенти Тарга так дурно повлиял на ее мужа. Он с первого дня начал обхаживать его и всячески завлекать в свои сети. С того самого момента, когда, стоя подбоченясь на площади, нагло разглядывал, как они вылезают из такси с блеском надежды в глазах и щербатой посудой в большой плетеной корзине. Роза не сумела тогда распознать исходившую от него опасность, и вот уже три месяца они не смеют и рта открыть, хотя знают, что время от времени черные машины силой увозят рыдающих мужчин к уступам Себастья, а потом они исчезают в кузове грузовика для перевозки скота, недвижимые, безмолвные, с навеки высохшими слезами. Валенти Тарга и ее тоже изменил, он просто-напросто заткнул ей рот. Теперь она тоже молчала. Даже сегодня, когда Ориол, вернувшись из мэрии, куда его вызвал проклятый Тарга, сказал, отводя глаза, что ей следовало бы записаться в Фалангу, она молча застыла перед плитой с открытым ртом, думая, что, может быть, она его не так поняла или что он просто шутит. Но нет, он стоял неподвижно, по-прежнему не глядя ей в глаза, и, не произнося больше ни слова, ожидал ее реакции. Роза поставила таз с

тестом для каннеллони на столешницу, с трудом подошла к креслу, бережно неся перед собой живот, словно устанавливая дистанцию между дочерью и мужем, и спросила: что ты сказал?

– Ты все прекрасно слышала.

Хосе Ориол Фонтельес Грау, павший за Бога и Испанию. Теперь Тина знала, почему имя показалось ей знакомым. Неделю назад, когда она еще была счастлива, она решила проехать по кладбищам долины Ассуа, поскольку хотела посвятить один из разделов книги последним пристанищам мертвых. Кладбище Торены показалось ей на фоне других шикарным, как пятизвездочный отель. Она решила не исказить кадр большим увеличением, а сделать общий план на расстоянии. В центре фотографии оказался запущенный памятник, окаймленный с двух сторон рядами могил с крестами, по большей части из ржавого железа, но кое-где и из мрамора. В глубине кладбища, частично скрытый памятником, виднелся еще один ряд могил, расположенный прямо у северной стены, с той стороны, откуда надвигались враг и ледяной ветер. А слева – усыпальница богатого семейства, чистенькая и ухоженная.

Щелк. На снимке оказалась запечатленной зеленушка в тот миг, когда она взлетала справа от обшарпанного памятника. Тогда Тина не обратила на птичку внимания; а может быть, и обратила, но так, как это случается со многими фотографами: хотя в момент съемки они и замечают все, что фиксируется в кадре, но все равно с нетерпением ждут, что проявка пленки подарит им какой-нибудь сюрприз.

И вот в красном свете фонаря на погруженной в раствор белой бумаге начинают проступать странные формы; сначала расплывчатые и неясные, они постепенно приобретают все более четкие очертания. Тина пинцетом пошевелила бумагу в проявителе, и неясные контуры трансформировались в отчетливые образы. Отличный кадр, подумала она. Вынула пинцетом бумагу из проявочного бачка и повесила ее сушиться рядом с двадцатью снимками кассеты номер три, 5-ХП-2001, кладбище Торены. Да, отличный кадр.

Исследовав проявленные снимки, Тина увидела, что на этот раз обошлось без всяких сюрпризов. Но потом она обратила внимание на взлетающую зеленушку, запечатленную на последней фотографии с обшарпанным памятником. Она ее не помнила. Надо же! А ведь это очень даже... поэтично. Она взяла лупу и стала разглядывать птичку. Ну да, зеленушка с расправленными крыльями, на взлете. А в клюве у нее червячок. Хотя нет. Может быть, дефект пленки? Нет, это проступающая в глубине снимка рельефная надпись на могильной плите, а птичка просто пролетает перед ней; все остальное – не что иное, как оптический обман. Да, рельефная надпись на камне. Тогда-то она и обратила внимание на каменную плиту. Хотя она находилась в глубине кадра, у самой земли, но получилась очень четко, поскольку Тина хорошо сфокусировала объектив. Зеленушка и слегка накренившаяся могильная плита, очень четкие. Возможно, композиция выглядит слегка академичной, слишком плоской. Ей вдруг подумалось, что зеленушка – это перо, выводящее клювом слова, высеченные на каменной плите. И эта зеленушка написала: «Хосе Ориол Фонтельес Грау (1915–1944), павший за Бога и Испанию». И еще изобразила фашистские ярмо и стрелы. И то, что сначала казалось червячком, которого птаха несла в гнездо, было на самом деле наконечником стрелы.

Тина положила лупу на стол и потеряла глаза. Этот кадр, последний в кассете, наверняка мог стать первой фотографией в книге, и надо сделать ее черно-белой, чтобы подчеркнуть ход времени и преходящесть вещей.

Ее рука все еще лежала на коробке из-под сигар с тетрадями Ориола Фонтельеса, и Тине, задумавшейся об их содержании, на какое-то время удалось забыть, зачем она сидит в засаде напротив освещенных дверей гостиницы в Айнете, в то время как снег вновь покрывает белой шалью лобовое стекло. Снежные хлопья казались ей звездами, которые, устав бесполезно болтаться в небе и печалась от мысли, что их свету придется веками лететь, чтобы достичь зрач-

ков любимых существ, падали на землю. А есть ли любимые существа в этом мире? Что ж, я люблю Арнау, но он не позволяет мне любить себя, все время молчит, замыкается в себе и, кажется, вовсе не желает замечать звезд. Впрочем, как и Жорди. Ее мужчины не хотят видеть звезд. Когда Тина уже собиралась вновь выйти из машины, чтобы почистить стекло, она вдруг уловила какое-то движение у входа в гостиницу. Кто-то показался в дверях. Жорди. Это был Жорди. Ее Жорди выходил из гостиницы за много километров от дома, надевая шапку и оглядываясь по сторонам. В темноте он не заметил красный «ситроен», стоявший на обочине шоссе. Обернувшись назад, мужчина протянул руку в открытую дверь. При виде этого жеста Тина испытала острый укол ревности. Гораздо более острый, чем когда увидела выходящую из дверей высокую, почти одного роста с Жорди женщину, облаченную в теплую куртку, которая не давала возможности разглядеть ее. Этим жестом Жорди словно принимал не только женщину, но и всю ее жизнь. Радушный жест и одновременно пощечина Тине, его жене, которая мерзла в машине только для того, чтобы убедиться в том, чего она заранее страшилась.

Она вышла из оцепенения. Взяла фотоаппарат, оперлась на руль, чтобы закрепить его, выставила максимальную диафрагму, длинную выдержку и щелкнула затвором. Два, три снимка. Четыре, пять. А теперь с телеобъективом: один, два, три, четыре, пять, шесть... Она перестала фотографировать, поскольку поняла, что ничем не отличается от вульгарного папарацци. Впервые в жизни слеза у нее на щеке превратилась в льдинку.

2

Его превосходительство сеньор дон Назарио Пратс, лысый, с выстриженными тонкими усиками, с потным лбом и в такой же потной рубашке, ну а кроме того, гражданский губернатор и руководитель региональной организации Национального движения, пришел в замешательство. Впрочем, вряд ли найдется человек, который не испытывал бы трепета в присутствии сеньоры Элизенды. Один только аромат ее необычных духов был для него сигналом опасности; он пробуждал в нем воспоминание о ее бархатном голосе, которым во время похорон она отдавала ему на ухо приказы, словно не знала, что он – гражданский губернатор, выдвигала требования, будто даже не догадывалась о том, что он – руководитель регионального отделения движения со всеми вытекающими из этой должности привилегиями; ей было совершенно наплевать на его привилегии, и, похоже, она готова была лишить его всех законных прав с невозмутимостью, достойной... самого Сталина. Да-да, именно так. С крайне любезным видом (вдруг попадет в кадр) дон Назарио принялся следить за отпрыском незабвенного товарища Сантьяго Вилабру, виртуозно спускавшимся вниз по склону, к тому месту, где три главы субделегаций, шесть алькальдов, проклятая вдова и он сам, а также три автобуса болельщиков из долин Ассуа, Кареге и Батльиу наблюдали за открытием горнолыжной трассы Туки, призванным привить населению дух новаторства, одобрить смелые инициативы и в будущем обеспечить чудесное преобразование этих мест. Все три автобуса болельщиков с профессиональным пылом аплодировали торжественной церемонии, поскольку ровным счетом ничего в происходящем не понимали и посему полагали, что дело это было чрезвычайной важности. Марсел Вилабру, единственный участник спуска, приступил к нему на высоте две тысячи триста метров, и зрителям казалось, что он размахивает испанским флагом, который держит в руке, хотя на самом деле знамя у него было крепко привязано к спине, и, летя по горному склону, он слышал, как позади трепещет, сражаясь с ветром, желто-алый стяг; его лыжи издавали восхитительный звук, вобравший в себя безмолвие и лиризм окружающего пейзажа, и он умело скользил вниз по склону, выписывая крутые виражи, заранее согласованные с Кике и тридцать раз отрепетированные, чтобы все получилось идеально, чтобы из-за одного неудачного движения он не испортил зрелище и не свалился вместе с флагом, набив себе синяков и шишек, в

девственный снег, который в данный момент он официально обновлял своим историческим спуском. Очень хорошо, Хасинто, ты все делаешь очень хорошо.

С натянутой на лицо улыбкой его превосходительство сеньор дон Назарио Пратс следил за спуском юноши, время от времени украдкой бросая взгляды на свою заклятую врагиню: не проявится ли на лице сеньоры выражение скуки, раздражения или еще чего-то в этом роде – верный признак того, что она, желая досадить ему, не преминет высказать свое неблагоприятное мнение министру. Министру или товарищам по Фаланге. Но нет, похоже, внимание вдовы было полностью приковано к любимому сыночку, и она с гордостью созерцала бесшумный (ведь звуки до них не долетали) трепет двухцветного полотнища, спуск которого увековечивали камеры кинохроники, сводя все цвета к черно-белой гамме.

– Всего тринадцать годков, а посмотрите, как катается, – сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь, но так, чтобы его услышали все, и главное – она. Ему никто не ответил, и внезапно он почувствовал, что у него вспотели руки, как это случалось всякий раз, когда он испытывал раздражение. Не удосужилась ответить, хотя могла бы проявить хоть каплю любезности. Совершенно очевидно, что ей нравится меня дразнить.

Губернатор бросил взгляд на левый фланг: отец Аугуст Вилабру – священник или что-то в этом роде, бесцветный, выглядящий старше своих лет, молчаливый, – тоже внимательно следил за спуском Марсела Вилабру. С явной гордостью, словно он отец парня. Губернатор не мог этого знать, но в действительности каноник имел все права считаться, по меньшей мере, отцом матери юноши, потому что, когда Элизенде исполнилось пять лет, он заявил ее родителям: Анселм, Пилар, эта девочка совершенно особенная. А Жозеп? Жозеп (бедный Жозеп, да упокоится его душа на небесах) – обычный ребенок, а вот Элизенда обладает незаурядным умом и способностью воспринимать вещи глобально, во всей их совокупности... Так знаешь, что я тебе скажу? Жаль, что она девочка. Ты, как всегда, галантен. Анселм, Пилар, черт возьми, я не хочу, чтобы вы ссорились из-за меня, но эта девочка – настоящий алмаз; да, ваша дочь – настоящий алмаз, и для меня истинной честью будет отшлифовать его и выявить весь его блеск. Однако Анселм Вилабру занимался лишь тем, что сражался на различных фронтах, а Пилар (хотя на тот момент этого еще никто не знал) – тем, что крутила роман, так что они оба не придали особого значения словам Аугуста. Вернее сказать, просто проигнорировали их: ведь и брат, и невестка Аугуста были твердо убеждены в естественной неспособности математиков говорить на одном языке с обычными людьми. Особенно если такой математик к тому же еще и священник. И тогда отец Аугуст, решив взять быка за рога, отдал девочку в интернат Святой Терезы в Барселоне, поскольку он всегда восхищался высокой духовностью досточтимого отца Энрике д'Оссо, которого однажды непременно причислят к лику святых. Он поговорил с матерью Венансией и убедил ее в необходимости дать девочке наилучшее образование, ибо хоть та и происходит из хорошей семьи, но внимания ей уделяют явно недостаточно. Мать Венансия его поняла. Ей была известна причина, по которой отец Аугуст решил прибегнуть к ее помощи: ведь в интернате Святой Терезы она была само воплощение требовательности. Недолгое, но весьма полезное пребывание в монастыре Рапиты во времена аббатисы Доротеи обострило ее чувство долга и намертво вбило в голову жизненный девиз, который вращался вокруг такой идеи: когда человек встает на путь истинный, он непременно обязан делать все, что должно, если считает это своим долгом. «Отлично» по арифметике, «отлично» по грамматике, «отлично» по латыни, «отлично» по естественным наукам. Да эта девочка больше чем алмаз, отец Аугуст, больше чем алмаз.

Очень хорошо, Хасинто. Ты все делаешь очень хорошо.

Когда наш героический искатель приключений спустился вниз, он снял с себя флаг, схватил его за древко и воткнул в снег, словно достиг Северного полюса; он воткнул его точно в то место, о котором они договорились с Кике и с неким Матансасом, занудой из протокольной службы правительства. Представители власти и пассажиры автобусов встретили этот

истинно мужской поступок горячими аплодисментами. Затем тридцать лыжников совершили слаломный спуск, выписывая на снежной поверхности виражи, повторяющие путь знаменосца, и представители власти вместе с автобусами болельщиков вновь зааплодировали. Дон Назарио Пратс повернулся на сорок пять градусов и обнаружил на уровне своего носа серебряный поднос, на котором лежала красная подушечка с ножницами для разрезания ленты. Он взял их и инстинктивно поднял над головой, словно забыв, зачем они ему нужны. Однажды вечерней порой сам Онесимо Редондо признался ему, что гениальные идеи всегда рождаются из интуитивной импровизации, в противном случае они таковыми не являются. И вот в этот самый момент губернатору пришла в голову гениальная идея, и, недолго думая, он передал ножницы вдове Вилабру.

Бери-бери, шлюха, вот бы перерезать тебе горло этими ножницами. Шлюха, шлюха, шлюха, шлюха.

– Кому, как не вам, сеньора, помочь мне объявить лыжный сезон в Тука-Негре открытым.

Сеньора Вилабру прекрасно знала, какими правами обладает, а посему не заставила себя упрашивать и не просто помогла перерезать, а единолично перерезала двухцветную ленту, преграждавшую представителям власти путь к канатной дороге и к очаровательному швейцарскому шале, где, как было обещано, им подадут обжигающий кофе с капелькой вкуснейшего ликера.

Власти и автобусы встретили аплодисментами перерезание ленточки и в упоении наблюдали, как сеньора Элизенда из дома Грават кладет ножницы на подушечку и в сопровождении представителей властных структур направляется к шале, которому предстояло стать центром общественной жизни Тука-Негры. Разумеется, символическую черту, теперь уже невидимую, пересекли только представители власти, поскольку люди из автобусов, всю свою жизнь прожившие среди снега, на лыжи никогда не вставали. Зимой им и так было чем заняться: привести в порядок сбрую и инструмент, наточить мотыги, выправить оси и колеса у телеги, смазать технику, заделать щели, если не мешал снег, заменить потрескавшуюся черепицу на крыше, обуходить скотину и застыть с устремленным вдаль взглядом, мечтая об иной, невозможной жизни. А к шале направились только представители власти, да еще Хасинто Мас, который разрешения ни у кого не спрашивал, ибо он никогда ни на шаг не отходил от сеньоры, и вовсе не из боязни возможного покушения, а потому, что жизнь, лицо со шрамом и все его будущее обретали смысл, лишь когда сеньора бросала на него взгляд, говоря глазами очень хорошо, Хасинто, ты все делаешь очень хорошо.

Отец Аугуст Вилабру освятил штаб-квартиру курорта (стены из лакированного дерева с якобы охотничьими трофеями на них, выходящие на трассу огромные окна), изгнал святой водой злых духов, бормоча под нос благословение, и высказал пожелание, чтобы сие место всегда источало лишь добро. И пусть спустя всего лишь пару лет случится эта история в душе между Кике и Марселом. Пусть благословенным стенам придется смиренно сносить проклятия и анафемы, вызванные ненавистью к Кике. Пусть в этом чудесном шале Тука-Негры будет случаться по тридцать адюльтеров за сезон, а при благоприятной погоде и все сорок; пусть большинство будущих завсегдатаев курорта окажутся людьми благовоспитанными, но отнюдь не высоконравственными... Пусть так. Но как мог отец Аугуст Вилабру знать об этом? Он всего лишь освятил все помещения курорта со спокойствием, зиждущимся на простодушном неведении, чего нельзя сказать о Бибиане: уж она-то прекрасно знала все о будущем как людей, так и вещей.

Вошедшим в освященное помещение представителям власти представилась возможность воочию узреть сквозь широкие окна, как тридцать улыбающихся лыжников и лыжниц с идеальными зубами, здоровой кожей и прекрасным снаряжением неожиданно возникли из снежных недр, с заученной беспечностью перебрасываясь на ходу ничего не значащими фразами, украдкой поглядывая в сторону камер кинохроники и ожидая своей очереди у канатной дороги;

тем самым они демонстрировали, что только что открытый горнолыжный курорт уже полностью готов к приему почетных гостей, которые будут в массовом порядке прибывать по новому подъездному шоссе Л-129, проложенному от областной трассы Л-1316. И все это, заключал гнусавым голосом в конце репортажа ведущий, стало возможным благодаря инициативе ряда местных предпринимателей и решительной поддержке провинциальных властей, желающих превратить сей идиллический ландшафт в центр притяжения избранных поклонников зарождающегося у нас лыжного спорта. Репортер, разумеется, забыл сказать, что упоминание местных предпринимателей было всего лишь эвфемизмом, ибо на семьдесят процентов капитал был шведским, несмотря на все отвращение, которое скандинавы испытывали к диктатуре. А остальные тридцать процентов принадлежали сеньоре Элизенде Вилабру, вдове сеньора Вилабру, единственной наследнице трехсотлетнего состояния семьи Вилабру из дома Грават, равно как и личного состояния, также весьма немалого, покойного Сантьяго Вилабру. Таким образом, «местные предприниматели» сводились к ней одной, поскольку все остальные возможные инвесторы нахмурили лбы и проигнорировали сделанное им предложение под предлогом того, что местечку вполне хватает горнолыжной базы Молина, а у Тука-Негры нет будущего. В следующем сюжете данной кинохроники Франко открывал очередное водохранилище, третье за тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год и девятнадцатое после победы националистов.

Губернатор отхлебывал кофе, приправленный коньяком, и курил вонючую сигару, улыбаясь поверх усов и делая вид, что смотрит на снег за окном, в то время как на самом деле нахально и по-мазохистски жадно пожирал глазами отражавшийся в оконном стекле силуэт вдовы. Хотя сеньора Вилабру прекрасно уловила его блудливый взгляд и заметила, как мужчина беспокойно оттирает потный лоб и руки, она и бровью не повела, ибо неисповедимы пути Господни. Она взглядом велела Шато внимательно следить за тем, чтобы в чашки губернатора и всех мужчин в фалангистской и военной форме все время подливали коньяк. Худой, робкого вида мужчина поднял бокал с вином, словно провозглашая тост; вот уже более двух лет адвокат Газуль не только помогал сеньоре решать все правовые вопросы, но и беспрестанно думал о ней, о ее восхитительных глазах, счете в банке, рискованных экономических и политических маневрах, о ее прелестной коже и утонченном безразличии к его сердечному трепету. Подняв бокал, Газуль попытался издали улыбнуться ей, но сеньора не обратила никакого внимания на безнадежный жест адвоката, поскольку в этот момент вошел Кике в сопровождении волны холодного воздуха, Марсела и еще двух лыжников и она поспешила передать ему поздравление губернатора с удачным спуском, сообщив Кике, что сегодня не едет в Барселону, а останется в Торене, и это не просто информация, но и приказ. Пойди, поприветствуй губернатора, и пусть Марсел тоже подойдет. Начальник лыжных инструкторов Тука-Негры, загорелый от постоянного пребывания на снежных склонах, изобразил на лице любезную улыбку и пошел засвидетельствовать почтение губернатору вместе с Марселом Вилабру. Его превосходительство дон Назарио Пратс демонстративно проигнорировал приветствие красавчика-инструктора, но обнял за плечи отпрыска семьи Вилабру, который был заметно крепче и коренастее своего идиота-отца, и сказал Марселу, Марселу, если бы твой отец видел тебя сегодня, он бы гордился тобой. Ты даже представить себе не можешь, как он был бы горд. Бедный Сантьяго, он был бы счастлив наблюдать за твоими успехами... Имей в виду, я знаю, что говорю, ведь мы с твоим отцом были близкими друзьями, нас связывала глубокая искренняя привязанность, настоящая дружба без всяких оговорок. Да, это так, и даже можно сказать, что он умер у меня на руках, бедный мой Сантьяго. Марсел Вилабру улыбнулся дежурной улыбкой, думая, что для него отец – всего лишь бесстрастное лицо с фотографии, висящей среди многочисленных семейных снимков в гостиной дома Грават. Да, жаль, что отца нет с нами, сеньор, на всякий случай ответил он губернатору. Очень хорошо, Хасинто, ты все делаешь очень хорошо.

3

Тина не услышала, что спросил мальчик, нетерпеливо теребивший ее за рукав, поскольку, хотя перед глазами у нее сейчас был Азиатский континент, мысли ее по-прежнему были прикованы к дверям айнетского хостела. Она была просто одержима желанием узнать, кто эта женщина, кто это мог быть, кто.

– Я нигде не могу найти Гонконг.

В тот вечер, вернувшись домой, она бросила куда-то ключи и сумку и, устремив взгляд в неведомую даль, как Доктор Живаго, рухнула в кресло; да, я совершенно одержима, сказала она себе, а ведь раньше мне казалось, что я совершенно не ревнива. И еще я думала, что мы всегда будем честны по отношению друг к другу. И еще думала... Нет, это унижительно: самое унижительное во всем – это то, что таким образом он демонстрирует пренебрежение ко мне, обманывает меня, лжет, делает все тайком, исподтишка.

– А что, ты хотела бы, чтобы он все делал открыто? – вмешался Доктор Живаго, сладко пожевывая.

– Вашего мнения никто не спрашивал, Юрий Андреевич.

Доктор Живаго перестал зевать, потянулся с естественной кошачьей грацией, но не теряя при этом своей величественной осанки, прыгнул к Тине на колени и свернулся клубочком. Тина погладила его по голове, почесала, как ему нравилось, за ушком и вновь вернулась к своим мыслям, поскольку приняла решение: как только Жорди придет, она усадит его напротив и потребует объяснений, кто эта женщина, сколько времени они вместе, что есть у нее такого, чего нет у меня, зачем ты со мной так поступаешь, ты меня совсем не любишь, разве ты не знаешь, что я все еще люблю тебя, а наш сын, ты о нем подумал, я хочу развестись, хочу убить тебя, сукин сын; ты клялся мне в верности, а знаешь ли ты, что такое верность? Это значит верить в другого человека и не бросать его, а ты меня бросаешь, потому что не веришь в меня, потому что не рассказываешь мне, что с тобой происходит, а если тебе не хватает мужества сказать мне все, открыто глядя в глаза, мог бы написать мне письмо, ведь письма – это как свет звезды, тебе это известно, Жорди? Впрочем, нет, ты недостойн знать, что письма – это как свет звезды. Что изменилось между нами, когда это произошло, в какой конкретный момент, кто в этом виноват, что я сделала не так, послушай, Жорди, что я сделала не так, что ты тайком встречаешься с Майте, если это Майте, или с Бего, или с Жоаной, или с какой-то незнакомкой? Жоржи, кто эта женщина, которая заняла мое место? Коллега по школе? А Жорди будет смотреть на нее с открытым ртом, взъерошенный и обескураженный, потому что ей все известно, а он в своих коварных планах не допускал такой возможности. И тогда он начнет плакать, попросит прощения, и она постарается забыть этот горький эпизод, ибо это ведь был всего лишь эпизод, хотя забыть ей будет нелегко, но она справится, ведь она человек позитивный и всегда старается смотреть только вперед. А наказание? Как она может наказать его?

Она не знала, приниматься ли ей за ужин или дожидаться, пока он вернется с педсовета. Жорди и Майте, интеллектуал и директор, прекрасная парочка для лживого адюльтера; наверняка после педсоветов они стараются оказаться одни в темном здании. Если она начнет готовить ужин и он придет, ей может не хватить мужества высказать все: ведь о таких вещах не говорят в кухне – их обсуждают, сидя в гостиной. Она скажет Жорди, я все знаю, ты лжешь мне, обманываешь меня с другой женщиной, ты встречаешься с ней каждую неделю в хостеле в Айнете, ты разочаровал меня, мне грустно и хочется плакать. Я ведь еще вполне ничего, ну да, килограмма три лишних, но ведь я хорошо сохранилась, Жорди, разве ты этого не видишь? Это у тебя появился животик, но ты мне все равно нравишься, Жорди, хоть с животиком, хоть без него; зачем ты меня обманываешь, негодяй, разве мы не договаривались, что всегда будем честны друг с другом, Жорди? Да, лучше в гостиной, чем в кухне, и она осталась сидеть в

кресле, поглаживая Доктора Живаго и все время невольно представляя себе, что вот сейчас они вдвоем остались одни в школе, ведь остальные уходят сразу после педсовета... Если это не так, то почему он все еще не вернулся? Но это если он с Майте. С кем ты изменяешь мне, Жорди? Я ее знаю? Если это Майте, то пусть готовится сполна ответить за свои прегрешения.

Через четверть часа она поняла, что проголодалась; однако ей не хотелось вставать с места, она предпочитала, чтобы Жорди застал ее здесь, ждущей его и твердо намеренной немедленно прояснить темные стороны их жизни. Ее взгляд упал на коробку из-под сигар, которую она поставила на журнальный столик. Она открыла ее: четыре тетради Ориола Фонтельеса. Несмотря на терзавшие ее мрачные мысли, она вдруг вспомнила слова Ориола: доченька, мое письмо – словно свет звезды: когда он достигнет твоих глаз, возможно, меня уже много лет не будет на этом свете. Чтобы побороть смерть, необходимо писать; но это жестоко – писать, зная, что смерть отнимет у нас последний лучик надежды. Именно тогда, когда Тина ждала Жорди, она окончательно поняла, что Ориол Фонтельес писал письмо в полном отчаянии, страстно желая, чтобы последнее слово осталось не за смертью.

Доктор Живаго напрягся: он всегда чуял Жорди задолго до того, как тот появлялся на лестничной площадке. Кот спрыгнул с колен Тины и направился к двери. Потом, словно мучаясь угрызениями совести, задрал кверху хвост, искоса взглянул на Тину, как будто говоря: идет Жорди, я ведь не могу его не встретить, и уселся перед дверью. Тина подумала: хорошо бы мы любили друг друга так, как нас любит Юрий Андреевич.

– Привет, Юрий, – сказал Жорди, входя в дом, и кот молча потерялся о его штанину. Тут Жорди увидел Тину, сидящую в кресле со странным выражением на лице. – Что у нас сегодня на ужин?

– Я не готовила ужин. Как дела?

– Хорошо, – вздохнул он. – Как я устал!

Он повесил куртку на вешалку и подошел к жене. В качестве приветствия погладил ее по волосам, отчего Тина содрогнулась, и устало опустил в кресло Доктора Живаго; тот тут же вспрыгнул к нему на колени, готовый в случае необходимости защитить хозяина.

Жорди, я узнала, что ты меня обманываешь; по вторникам ты не ходишь ни на какое собрание учительского объединения, а встречаешься с женщиной в айнетском хостеле, я все знаю, тебе больше нет смысла скрывать это, проклятый лжец, кто эта женщина? Почему ты нечестен со мной?

– Пойду приготовлю ужин, – сказала Тина. – С обеда остался суп.

– Отлично, – ответил Жорди, поглаживая мягкую спинку Доктора Живаго и расслабленно прикрывая глаза. Впрочем, он тут же открыл их, поняв, что Тина и не думает вставать с кресла, и сделал ей встречное предложение:

– Если хочешь, я поджарю яичницу.

– Отлично.

Они всегда находили общий язык. Тина подождала, пока Жорди оказался на кухне, и, не вставая с кресла, упорно глядя в стену, поскольку ей было стыдно за то, что она собиралась сказать, спросила, как прошло собрание.

– Как обычно. Роденес заболел.

– Пойдешь еще?

– Разумеется.

Лицемерный сукин сын, ты обманываешь свою жену, используя самую отвратительную на свете ложь, обычную ложь всех мужчин, которые не могут придумать ничего оригинального и унижают своих жен банальным враньем, как противно, какая мерзость, а ведь я думала, что с нами никогда такого не случится, ибо наша любовь искренна и мы честны друг с другом.

– Вы что-то ели?

– Да, перекусили слегка.

Тина встала и прошла на кухню. Облокотилась о дверь и замерла, не предложив своей помощи. На мужа она не смотрела.

– И много вас было?

– Шесть или семь человек. Все действительно прошло совсем неплохо.

Какой лицемер! Шесть или семь человек? Двое: ты и она, и проводили вы собрание в постели, там же и протокол вели, обсуждая образовательную реформу в горных районах: она – расставив ноги, а ты – лаская ее грудь с той же нежностью, с какой ласкаешь мою! С какой прежде ласкал мою. Кто она? С кем ты мне изменяешь и как только тебе в голову это пришло? Разве мы не договорились быть честными по отношению друг к другу?

Ужин прошел в полном молчании. Невозможно, чтобы Жорди не попытался истолковать для себя это демонстративное молчание. Совершенно невозможно, потому что трудно высказаться яснее. Впрочем, нет, есть способ выразить это яснее: просто сказать.

– Я пошла спать, – вместо этого произнесла она.

Ты тоже достойна презрения, ведь ты даже не осмеливаешься спросить его о такой простой вещи, почему ты обманываешь меня, Жорди, сукин ты сын; и еще об одной, вызывающей у нее болезненное любопытство: с кем. Наверняка она хотела узнать это прежде всего для того, чтобы провести сравнение: что такое есть у нее, чего нет у меня, что есть у меня, чего никогда не будет у нее, она моложе меня, выше меня, наверняка стройнее меня, я знаю ее или я никогда ее не видела? Ну почему это происходит со мной? Почему, если мы так любили друг друга? Почему, боже мой, ведь мы были так честны друг с другом...

– Я тоже иду, – сказал Жорди.

Хоть бы душ принял, свинья. Сейчас самый подходящий момент заявить ему: в моей постели тебе нечего делать.

Однако Тина не сказала ему в моей постели тебе нечего делать. Она ничего не сказала. Наблюдала, как он ложится, и спустя несколько минут услышала мерное, спокойное дыхание честного человека, в то время как она лежала с широко раскрытыми глазами, не в силах поверить в происходящее, пока наконец в четвертом часу ночи не забылась тяжелым, беспокойным сном. Что ты сказал, Сержи?

– Я не нахожу Гонконг.

Гонконг. Сержи Ровира из дома Рос не может найти Гонконг на карте Азии. А ведь это важно – знать, где находится Гонконг. Она только что прошла с ними Китай, и невозможно, чтобы Сержи Ровира из дома Рос искал Гонконг в Японии. О чем только думает этот мальчишка? О чем думал Сержи Ровира, когда она объясняла, что до недавнего времени эта территория принадлежала Британии, а теперь составляет часть Китая под лозунгом одна страна две системы, и невозможно быть счастливым, когда ложь разбивает твою мечту, разве ты не знаешь, что деревянные башмаки невозможно починить, потому что когда они ломаются, то это навсегда?

– Почему вы плачете, сеньорита?

Она испуганно вытерла слезы платком и сказала ерунда, разве у тебя никогда не текут слезы из глаз, когда они воспалены или что-то в этом роде?

– У меня текут слезы, когда я режу лук.

– И у меня.

– И у меня тоже.

– Вот-вот, очень хорошо, Алба. Так вот считайте, что я всю ночь резала лук.

На перемене Майте повела ее в библиотеку, чтобы показать собранные для выставки материалы. В углу Жоана составляла опись книг и школьных предметов, которые будут представлены в экспозиции: от стирательной резинки «Эбро» до одинокого красного карандаша «Альпино». Майте вытащила какую-то старую книгу из громоздившейся на столе груды.

– Книги, которые ты привезла из Торены, – сказала Жоана, не поднимая головы, – просто классные. Сорок второго и сорок пятого года.

– Это Тина их привезла.

И тут Тина вдруг отдала себе отчет в том, что уже много часов не вспоминала об Ориоле Фонтельесе и его тетрадах.

– Почему бы тебе не уговорить Жорди, – предложила Майте, – сказать несколько слов на открытии выставки?

– Но ведь это ты директор...

– Я не умею выступать с публичными речами.

Неужели это она? Неужели Майте – та женщина, с которой муж ей изменяет? Верная подруга, очень трудолюбивая и добросовестная, но разве это мешает, когда хочется переспать с мужчиной? Это возможно? Конечно возможно. И в довершение всего она еще хочет, чтобы я уговорила Жорди... До чего же люди лицемерны.

Она посмотрела Майте в глаза, и та ответила ей открытой улыбкой. Неужели она может быть такой холодной и циничной? Майте положила книгу на стол и стряхнула пыль с ладони.

– Ну так что? Уговоришь его?

А если это не Майте? Если это другая женщина, которую она совсем не знает?

– Не обещаю, Майте.

– Но Жорди всегда делает то, что ты говоришь, – доверительным тоном директрисы-подружки.

Около трех часов ночи, так ни на минуту и не сомкнув глаз, и не представляя себе, как она сможет заснуть рядом с неверным мужем, лжецом и подлецом, Тина встала с постели, будучи уверена в том, что печаль, которая вскоре превратится в боль, все равно не даст ей отдохнуть, и на цыпочках прошла в лабораторию. Впервые с тех пор, как она обустроила ее в маленькой ванной комнате под искренние аплодисменты Жорди и молчание Арнау, Тина заперла дверь изнутри. У нее было ощущение, что она чужая в этом доме. Со взвинченными нервами и неконтролируемой дрожью в руках, она принялась за работу, полагая, что коль скоро она не может заснуть, то какая разница, чем заняться.

Поместив пластинки в станок для сушки, Тина обнаружила, что и телеобъектив ей не помог. На всех фотографиях был хорошо виден Жорди, ее когда-то благородный и порядочный возлюбленный: глядя прямо перед собой и поддерживая женщину за талию или за плечи, он выходил из дверей хостела. Она же была всего лишь неясной, темной тенью, закутанной в куртку с надвинутым на глаза капюшоном: никакой подсказки, которая позволила бы Тине взять след. Женщина, укрывшаяся под покровом тьмы. Ей следовало бы использовать вспышку, но тогда они заметили бы ее и ее «ситроен», и было бы крайне унижительно вот так вдруг попасться на слежке. Жорди наверняка подбежал бы к машине, говоря это совсем не то, что ты думаешь, Тина, поверь, просто собрание закончилось раньше, чем предполагалось... и мы зашли немного выпить, вы знакомы? позволь мне представить тебе...

– Жорди всегда делает то, что ты говоришь, – повторила скромница и недотрога Майте.

По крайней мере, такой ее все считают. Ну почему все так ошибаются? Почему единственный, кто всегда прав, – это Доктор Живаго?

У Жоаны упала книга. Она подняла ее, провела по ней рукой, словно сметая пыль, и взглянула на Тину:

– Говорят, ты сделала фотографию старой школы Торены.

– Да. Я еще не успела ее проявить, а школы уже не существует.

– Ужасно.

– Да. *Tempus fugit* на полной скорости.

– Ты можешь принести нам снимок? Для выставки...

– Ну конечно. Можно будет показать, как было раньше и что стало теперь.

А что, если прячущаяся во мраке женщина с фотографии – Жоана? Скромная серьезная секретарша, готовая при любом удобном случае нанести удар в спину? Разумеется, это могла быть она. Боже, где же мое достоинство? Я с ума схожу от ревности, бешусь от злости, а это так унижительно, я совершенно разбита, глаз не могу сомкнуть и все время думаю, что же я такого сделала, чтобы Жорди, такой благородный и надежный, предал меня. Да нет, вряд ли это Жоана. Это Дора или Карме. А может, Пилар. Или Агнесс, которая... Хотя не знаю... Или все-таки Карме, которая все время отпускает похабные шуточки, как мужик... Или Дора, она такая молоденькая... Хотя Дора очень уж маленького роста. Не знаю...

– Послушайте, Тина, вы скажете мне, где находится Гонконг, или не скажете?

– Il faut tenter de vivre, – ответила она. Дети в недоумении переглянулись, некоторые было захихикали, но быстро затихли. Тина посмотрела на них словно издалека. – Le vent se lève, да, – добавила она.

– Понятно, Тина не хочет мне отвечать.

4

Шанхайский экспресс величественно тронулся. Оси колес локомотива с титаническим усилием пришли в движение, таща огромный тяжелый локомотив и два вагона класса люкс.

Сеньора Элизенда сняла цепочку с крестиком, положила ее в шкатулку из слоновой кости и открыла заднюю дверь; в маленькую прихожую с дровяной печкой воровато проскользнул Кике; Бибиана, от которой не ускользал ни один вздох в этом доме, готовила отвар ромашки и с печалью во взоре думала бедная девочка. Кике почувствовал, как у него перехватило горло, когда увидел Элизенду в длинном черном платье, которое так ему нравилось. А ком в горле у него встал потому, что всякий раз, когда на него накатывало романтическое настроение, сеньора сухо обрывала его, говоря не делай глупостей и ни о чем таком даже не помышляй; ты пришел со мной переспать, и все, я тебе плачу за это. Эти слова причиняли ему боль, поскольку били не в бровь, а в глаз. Она действительно щедро оплачивала его услуги. Очень щедро. Сеньора сняла длинное платье, расставила ноги, приоткрывая некоторые тайны своей плоти перед смуглым, атлетически сложенным любовником; они всегда словно спешили куда-то, будто стараясь побыстрее покончить с неким тягостным, навязанным неведомо кем ритуалом. Ни разу, ни в одну из греховных ночей Кике не удалось вызвать у нее хотя бы слабую улыбку. Ни разу. Но зато крики она издавала такие страстные, что он давно возомнил себя самым искусным любовником на свете. Кике не мог распознать ярость, наполнявшую эти крики; для этого ему пришлось бы снять свои любимые солнечные очки. И он ничего не знал о том, что с ней произошло и как все было. Он не знал, что с того дня, как сеньора бежала в Бургос в сопровождении Бибианы, которая отказалась отпустить ее одну, с чемоданом, наполненным жадной мщенья, она сотни раз мечтала начать жизнь заново.

– Ну, ты готов?

– Нет. Сегодня не получится...

– Что ж...

Пожалуй, Кике впервые оказался не на высоте. Обычно он был как хорошо отлаженный механизм, безупречно отвечающий всем возлагаемым на него ожиданиям.

Шанхайский экспресс весело миновал поля, преодолел мост, шедевр британского инженерного искусства, возвышающийся над полноводной рекой, и вошел в окутанный тайнами туннель, издав приглушенный, еле слышный триумфальный гудок.

– Даже не знаю, что такое со мной... – смущенно сказал Кике.

С несвойственным ей чувством нежности сеньора взяла его член, умело реанимировала его и сделала так, чтобы юноша испытал приятную эякуляцию. Благодарный Кике в ответ подарил ей оргазм; она вновь издала крик, снова подумала о своей несбыточной любви и закричала

еще громче, но не от удовольствия, а от ярости. В своей комнате Бибиана, держа на коленях чашку ромашкового чая, перекрестилась и подумала бедняжка, такая красивая, такая богатая и такая грустная, она все еще тоскует по нему; ведь эта простая женщина, полностью позабывшая о собственных горестях и заполнившая сердце печалью госпожи, как никто другой, понимала душевную тоску сеньоры Элизенды Вилабру.

Одновременно с кошачьим воплем сеньоры шанхайский экспресс на безумной скорости ворвался в опасный поворот. Локомотив сошел с рельсов и опрокинулся набок среди заснеженных елей, одна из которых взлетела на воздух, как зубочистка. Оба вагона люкс-класса беспомощно застыли на путях; некоторые колеса еще крутились, но поезд был неподвижен. Марсел ничего не сделал, чтобы спасти ситуацию. Само собой разумеется, он прекрасно видел, что его любимый локомотив сошел с рельсов; но в это время он со слезами на глазах мастурбировал, ибо никак не мог понять, что означают сии истошные крики, напоминавшие ему котов на крыше. Если бы сеньора Элизенда знала, что в силу архитектурных особенностей дома стоны, которые она издавала в спальне, прекрасно были слышны на чердаке, она бы хорошенько подумала, прежде чем превращать его в пространство для детских игр, где разместились электрическая железная дорога со всеми ее атрибутами, немецкий проигрыватель, лыжи и лыжное снаряжение и даже кровать на тот случай, если кто-то из приятелей сына останется у них переночевать.

– Из интерната никто не приедет, а местным оставаться на ночь незачем.

– Так ты не хочешь кровать?

– А ты что, думаешь, Шави Бурес останется у меня на ночь, когда у него дом напротив?

Она занялась обустройством чердачного помещения, чтобы как-то сгладить переживания Марсела из-за внезапной смерти отца.

– Мама, я не хочу в колледж.

– Мы это уже много раз обсуждали.

– Там противно. Я хочу жить здесь.

– Придется потерпеть. В колледже дают самое хорошее образование, такое нигде больше не получишь.

– Но я мог бы ходить в школу в Торене.

– Об этом не может быть и речи. И все, хватит. А когда будешь приезжать на каникулы, весь чердак будет в твоём распоряжении.

Кике быстро оделся; он всегда испытывал неловкость, когда все заканчивалось. Она проводила его к черному входу и, оставшись одна, в одной рубашке опустилась в кресло, держа шкатулку из слоновой кости, и разрыдалась: это было так унижительно. Ироничным воспоминанием всплыли в мыслях наставления матери Венансии; та все время повторяла, что самая драгоценная добродетель женщины – это чистота; сеньорита Элизенда Вилабру – «отлично» по арифметике, «отлично» по грамматике, «отлично» по латыни и «ноль» за чистоту, мать Венансия, и все из-за этого проклятого несчастья.

– Женщины, дочь моя, как правило, не слишком похотливы.

– Но, святой отец, я не считаю возможным совсем отказаться от секса.

– Ну теперь я тебя совсем не понимаю, дочь моя. – Исповедник замолк, озадаченный ее заявлением.

По улице Льюрья с возмутительным грохотом проехал трамвай; в темной исповедальне хранили молчание.

– Не знаю. Но это ведь естественная потребность... Я хочу доказать, что... Впрочем, не важно.

– Нет, дочь моя, говори.

– Да ничего-ничего.

– Почему бы тебе снова не выйти замуж?

– Нет. Больше никогда. Я пережила большую любовь и поклялась никогда больше не выходить замуж.

– Тогда почему ты встречаешься с мужчинами?

– От злости.

Снова трамвай. Исповедник провел рукой по щеке, в это время дня уже слегка шероховатой от пробивающейся щетины. Он не знал, что сказать. Выдержав долгую паузу, произнес:

– Я не понимаю тебя, дочь моя.

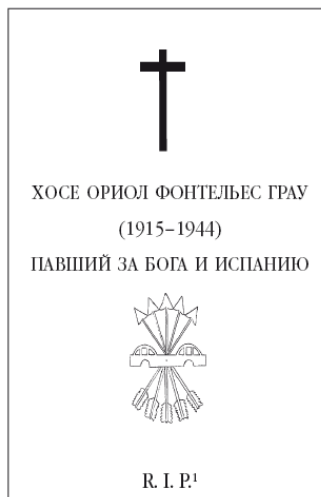
– Я бы очень хотела, чтобы все было по-другому.

– Да... – Еще одна долгая пауза для раздумий. – Ты когда-нибудь размышляла о такой христианской добродетели, как смирение?

– Вы можете отпустить мне грехи, святой отец?

Прежде чем вернуться в спальню, она провела рукой по стоявшим на комодe фотографиям, словно перебирая в памяти всю любовь и ненависть, с которыми ей пришлось столкнуться в жизни. Потом погасила свет в гостиной. Сквозь щели в жалюзи проникал тусклый свет замерзшей луны.

Бибиана, которая с тех пор, как навсегда поселилась в душе сеньоры, безошибочно угадывала ее мысли, допила ромашковый чай и тоже погасила свет.



Знаешь что, сынок? Деревенские погосты всегда напоминают мне семейные фото: все друг с другом знакомы и все спокойны; лежат себе рядышком, каждый видит свой сон, и вся злоба, вся ненависть в этом неизбывном покое куда-то улетучивается. Но ты знаешь, что до меня, так я бы не стал делать гравировку на этом надгробии, пусть это и твой учитель. Мне совсем не по душе увековечивать память об убийце. Но что поделаешь, иногда приходится делать то, что нам не нравится, вот как сейчас: павший за Бога и Испанию и соучастник преступления, которое невозможно стереть из памяти. Ну что, прямо по центру или нет?

– Да.

– Видишь? Вот здесь ставим заклепки.

– По одной в каждом углу.

– Очень хорошо, сынок. Со мной ты быстро всему научишься. Твой учитель этого не заслуживает, но я не умею делать свою работу плохо. Так хорошо?

– Да. Дай я теперь отполирую, отец.

– Да, видно, дурная кровь была у твоего учителя, ведь он причинил больше вреда, чем сам дон Валенти, потому что тот, по крайней мере, не притворяется. Ты о нем даже не вспоминай,

он этого не заслужил, Жаумет. Только на всякий случай не говори никому о том, что я тебе сейчас сказал. Аминь.

Часть вторая

Имена на плитах

*Талифа куми.
Евангелие от Марка 5: 41*

Если бы не торжественность момента, отец Релья давно бы послал куда подальше некоторых овец из своей паствы, которые все время, что длилась поездка, – два дня экскурсий в Риме и сегодняшний праздничный день – не переставали критиковать организацию мероприятия, то есть организаторов, то есть сеньора епископа, без конца что-то недовольно бормоча сквозь зубы в полной уверенности, что никто их блеяния не слышит. И особенно это касалось набожной Сесилии Басконес, которая с возрастом только источает все больше и больше энергии. Боже мой, как же трудно проявлять милосердие ко всем овцам паствы, особенно к этой несносной Басконес, которая уже в третий раз за время пребывания в Риме как бы невзначай замечает в присутствии своих единомышленниц, что если они побывали в Святом граде, то только благодаря ей. Отцу Релье приходилось постоянно совершать над собой усилие, чтобы скрыть, как они его раздражают, особенно эти несносные бабы, которые как раз в этот момент любезно улыбаются ему, с гордостью представляя, как они по возвращении домой будут рассказывать всем, что их принимали в закрытых для публики помещениях Ватикана, куда они вошли через ворота, предназначенные для особых гостей, то есть для таких, как они. Кстати, швейцарский гвардеец у входа – просто красавчик, хотя непонятно, что это за стража, с латунным-то копьём. Но какие глаза... совсем как у моего внука. И вот привратник открывает нам двери, а этот дурень отец Релья пересчитывает нас по головам, будто мы овечки какие-нибудь или идем на экскурсию вместе с простыми монашками.

– Куарентанове е чинкуанта, – громко заявляет пастор. Привратник, вопреки его ожиданиям, не расплывается в благодарной улыбке в ответ на усилие, которого стоила святому отцу выговоренная по-итальянски цифра. Этим малым на все наплевать.

Группу, образованную из двенадцати весьма преклонного возраста экс-фалангистов со спутницами жизни, пяти алькальдов различных политических взглядов и ассорти из представителей приходских советов епископата, без всяких объяснений проводят в просторный коридор, который вполне мог бы служить залом для проведения торжеств. Верхняя часть его стен по всему периметру украшена фризом из фресок, чередующихся с круглыми окнами. На одной из стен – огромное полотно, изображающее святого Иосифа в момент, когда зацветает его посох. В противоположном конце коридора расположилась другая группа, очень похожая на них, но говорящая, по мнению сеньора Гуарданса, по-русски или на каком-то похожем языке.

– Этот святой Иосиф какой-то очень уж желчный.

– Да, это точно, – по крайней мере, так он выглядит. Наверняка билирубин у него зашкаливает. А если точнее, то у этого святого уже сформировался неэффективный эритропоэз, а следовательно, внутриклеточный гемолиз эритроцитов.

– Ничего себе!

– Да.

– Вы уверены, что это святой Иосиф?

– Сеньоры, не повышайте голос. – Священнику надоело выслушивать эти комментарии.

– Спросите, есть ли здесь туалет.

– Конечно есть.

– Да помолчи ты. – Обращаясь к священнику: – Почему бы вам не поинтересоваться?

Крайне раздосадованный, отец Релья поворачивается к подопечным спиной, чтобы те не заметили его раздражения. Как на грех, именно несносной Басконес не терпится попи`сать. Он осматривается вокруг, но не видит ничего, кроме какого-то унылого металлического каркаса, поддерживающего стену, рядом с которой стоит русская группа.

– Они ведь не забыли про нас, правда?

– Надеюсь, а то представляете, тащиться сюда из дому, чтобы застрять в коридоре в окружении русских...

– А разве у русских не другая религия?

– Сеньоры, пожалуйста...

Постепенно мягкие, но достаточно бурные протесты недовольных дам перебивает сначала еле слышный, но с каждым шагом усиливающийся стук каблуков, окутанный некой далекой магической аурой и облаченный бесспорной властью. Ворчуньи затихают. Все прислушиваются к звуку приближающихся шагов, хотя непонятно, откуда они доносятся, потому что в этом огромном здании каждый звук отдается эхом. Неожиданно из-за угла, у которого расположилась группа, появляется юноша, изображающий на своем лице удивление: как, вы здесь? Он обращается к первому попавшемуся человеку и с улыбкой дает понять, что группа может следовать за ним. Дабы не утратить главенства над своей паствой, отец Релья выступает вперед, подходит к юноше и протягивает ему руку. Молодой человек пожимает ее. Однако священнику важно решить свою задачу, поэтому он произносит: уборная?

Молодой человек смотрит на него с удивлением.

– Toilette, gabinetto? – пытается растолковать ему священник.

До юноши наконец доходит, он останавливается, потому что они как раз находятся возле уборной; полчаса на туалет, не снимайте рюкзаков, не пейте много воды, можете присесть, но не расслабляйтесь, наслаждайтесь интерьерами. В следующий раз пусть их везет Рита, думает священник.

Привлеченные возникшим движением, русские или кто-то в этом роде пристраиваются в хвост группы. Оба сообщества почти смешались самым опасным образом, когда один из русских на французском языке отвечает на заданный по-английски Гуардансом, самым начитанным из всех, вопрос, русские ли они: да, мы русские. Однако Гуарданс не может сообщить об этом остальным, поскольку большая часть обеих групп занята тем, что со вздохом облегчения опорожняет настрадавшиеся мочевые пузыри.

5

Дом Грават, расположенный в конце Главной улицы, ныне улицы Хосе Антонио, был построен, как гласит надпись на притолоке, в 1731 году. Его приказал построить на фундаменте старого дома Грават, семейной собственности, Жоан Вилабру-и-Тор, когда решил, что работа – это одно, а жилище – совсем другое. В результате в доме Падрос, где он проживал до этого, остались управляющий, приказчик, все слуги вплоть до подпaska, оборудование, инвентарь, сено, зерно, мулы, бычки и вся скотина, а дом Грават был превращен в роскошный особняк наподобие тех, что он видел в Барселоне, когда ездил покупать право на владение Малавельей у одного разорившегося барона, что позволило ему добавить несколько участков земли к внушительной собственности семейства, а также сделать первый шаг на нелегком поприще завоевания достойного места среди мелкопоместного дворянства. Один из его сыновей, которому очень уж хотелось стать бароном, попытал счастья в Барселоне и на Менорке, но в конечном итоге вернулся в надежный мир родной долины, придя к выводу, что семья может зарабатывать деньги лишь так, как зарабатывала всю жизнь: куплей-продажей скота, продажей шерсти и излишков фуража, производимого в их обширных владениях, а также приобретением и перепродажей земель, при которых они умело пользовались различными предоставляемыми им

Историей льготами, ибо всегда внимательно следили за всеми изменениями законодательства, дабы раньше других извлечь выгоду из нововведений, и поручали управление землями лишь безусловно надежным людям, да и то только в том случае, когда этим не мог заняться лично никто из семейства Вилабру. С этого времени дом Грават стал разрастаться как внутри, так и снаружи. В 1780 году на главном фасаде появились великолепные, ставшие знаменитыми сграффито с тремя крепкими женскими фигурами, расположенными в трех разделенных балконами простенках, которые символизировали, соответственно, пору покоса, стрижку овец и выгул отар на идиллических пастбищах. Располагай правнуки Жоана Вилабру большим пространством, они могли бы добавить не менее идиллические сцены с длинной вереницей контрабандистов, переправляющих товар через перевал Салау, ибо в девятнадцатом веке семья Вилабру сколотила значительную часть своего состояния, вербуя шайки разбойников, устанавливая контакты с коммерсантами Арьежа и Андорры, подкупая карабинеров, укрывая товар, и при этом власти так и не смогли их ни в чем уличить. Все это продолжалось вплоть до наступления эры Марсела Вилабру (1855–1920, благодетель Торены R. I. P.), который по завершении безумной авантюры Первой республики стал верой и правдой служить восстановленной монархии и вознамерился вернуть семейству Вилабру статус фамилии не только уважаемой, но и достойной уважения, решив, что Аугуст, его средний сын, должен принять сан священника, а младший, Анселм, поступить в Военную академию. Вскоре после того, как он направил жизнь этих двух сыновей в достойное русло, внезапно умер Жозеп, его наследник (Жозеп Вилабру, 1876–1905, возлюбленный сын наш R. I. P.). Тогда Марсел соорудил на кладбище Торены семейный пантеон и потратил целое состояние на приведение в порядок погоста. Злые языки поговаривали, что вступление сеньора Вилабру на путь истинный было в значительной степени вынужденным, ибо на рубеже веков появилось множество храбрых и жестоких главарей банд, досконально знавших расположение дорог, путей, тайников, укромных мест и убежищ и желавших раз и навсегда покончить с посредниками и самостоятельно, на свой страх и риск, заключать сделки.

Всякий, кто переступал порог дома Грават, попадал совсем в иной, непривычный мир, с изысканными ароматами и приглушенными звуками, с тремя служанками, которые под предводительством старой Бибианы без конца боролись с пылью и дурными запахами, проникавшими сквозь тысячу щелей с улицы. В вестибюле по правую руку находилась дверь, ведущая в просторную гостиную, огромное пространство с тремя громадными креслами, большим диваном и двухместным канапе Чиппендейла, а также камином, увенчанным консолью с изящными статуэтками, в котором зимой всегда пылали дрова, двумя зеркалами, хранившими отражения и тайны дома, и написанным маслом портретом дедушки Марсела. Прямо около двери висели настенные часы в деревянном корпусе того же цвета, что и вся мебель; их глубокий, благородный перезвон напоминал обитателям дома, что время бежит и никогда не поворачивает вспять. Справа от часов, рядом с эркером, – изящный комод с ящиками, доверху заполненными документами, которые удостоверяли проживание в доме одиннадцати поколений Вилабру, занимавшихся непрерывным зарабатыванием денег и расширением владений. На комод были расставлены восемнадцать фотографий, посвященных двум персонажам, горькой памятью о которых дышал дом и его обитатели. Сеньор Анселм Вилабру в походной форме со звездочками капитана и двумя детьми, Жозепом и Элизендой, в фотоателье: у Анселма темные воинственные усы, Жозеп витает в облаках, а Элизенда пребывает в задумчивости, словно она с детства задалась целью постичь тайну сего мира. Вот брат и сестра в разные периоды своей жизни. Юная Элизенда в одиночестве. Ориол провел пальцем по рамке этой последней фотографии: овал ее лица был таким же, как сейчас, совершенным, нос – четко очерченным, а глаза – живыми. Взгляд этих глаз невозможно разгадать. Более крупный снимок, помещенный на самом видном месте, запечатлел экс-капитана Анселма Вилабру, вернувшегося к гражданской жизни, и его старшего сына Жозепа, теперь уже высокого спортивного юношу (*altius, citius*,

fortius!), сидящими в саду дома Грават за столиком с красивым чайным сервизом и пристально вглядывающимися в объектив фотокамеры, словно в надежде разглядеть то недолгое будущее, которое еще оставалось у них в запасе на тот момент, когда был сделан снимок. Они только что приобрели земли Боскозы, и сеньор Анселм Вилабру намеревался грести деньги лопатой, дабы компенсировать королевское наказание, предполагавшее лишение прав на баронское поместье в Малавелье, но оставалось совсем немного времени до того часа, когда группа неуправляемых молодчиков ФАИ из Тремпа под предводительством учителя Сиды вытащит их за уши из дома и отведет средь бела дня к уступам Себастья возле кладбища, и это все, Бибиана, делишки Бринге и двоих других, как их там звать, как звать, не помню, это они на нас донесли, Бибиана, а иначе откуда еще могли обо всем узнать в Тремпе, это точно они их привели. И клянусь тебе, я заставлю их поплатиться за эти смерти. Молчи, ты же совсем ребенок. Я не собираюсь молчать, Бибиана.

Была там и пара фотографий военной тематики. На самом четком снимке капитан Анселм Вилабру в офицерской фуражке с тремя звездочками с довольным видом позировал на фоне двух понурых рифских повстанцев, словно охотник, который, поставив ногу на труп поверженного оленя, победно смотрит в объектив фотокамеры. (Кстати, если приглядеться, руки обоих марокканцев были заведены за спину, что в определенном смысле объясняло победный взор капитана Вилабру.) Жозеп как-то шепотом поведал Элизенде, что рук у берберов не было видно, потому что они были связаны за спиной, и, как только снимок был сделан, папа приказал их расстрелять. Он сам сделал контрольный выстрел, но только никому об этом не говори, и папе тоже ни слова о том, что я тебе рассказал. Элизенда никому ничего не рассказала, и Ориол поставил фотографию на место, так и не узнав семейной тайны. Интересно, почему нет ни одного снимка матери? Разве у сеньоры Элизенды не было матери? И муж ее тоже не удостоился ни одного фото?

Часы безучастным перезвоном ответили ему, что уже шесть часов вечера и на улице начинает темнеть.

– В этой деревне столько всяких поганцев... впрочем, лучше тебе об этом не знать, – сказал ему сеньор Тарга в тот день, когда подписал его назначение на должность учителя в Торене.

– Я школьный учитель, и моя обязанность – хорошо выполнять свою работу...

– Да, ты учитель, но будешь выполнять все, что я тебе скажу.

Сидевший в кресле алькальда Тарга поднял голову и пристально взглянул в глаза стоявшего перед ним учителя. Ориол впервые почувствовал, что у него дрожат ноги. Он ничего не ответил, и алькальд жестом предложил ему сесть. Затем доверительным тоном поведал, что когда Отечество было ввергнуто в пучину революционного коммунистического маразма и сепаратизма, с необходимостью повлекшего за собой достойное восстание, здесь, в Торене, произошли очень серьезные события.

– Какие события?

Ориол взглянул на стену позади алькальда. Справа – Франко в грубой походной шинели, слева – Хосе Антонио с напыженными волосами, в темной рубашке, а в центре – распятие со скорбным Христом, как в школе. Сеньор Валенти свернул папирску.

– Она предпочитает не распространяться об этом – о том, что случилось с ее отцом и братом.

– Кто – она?

Валенти Тарга какое-то время смотрел на него с удивлением. Потом прореагировал и уточнил:

– Сеньора Элизенда Вилабру.

Глухим голосом, словно ему все еще было нелегко об этом вспоминать, он поведал Ориолу, что за ними пришли двадцатого июля; это была шайка красных и анархистов из

Тремпа. Ты слышал что-нибудь о Максимо Сиде? Нет? Он был учителем, как и ты. Но главное – убийцей. Таким жестоким убийцей, что потом его свои же и прикончили, лишив меня возможности сделать это лично.

– Сеньора Элизенда ничего мне об этом не рассказывала.

– Ты часто с ней видишься?

– Да нет, мы с Розой лишь однажды были у нее дома. Почему вы спрашиваете?

– Да так.

– Она ничего о них не рассказывала, но в гостиной у нее стоят фотографии отца и брата.

– Она не любит об этом говорить, потому что хочет поставить крест на этих событиях.

Алькальд зажег папиросу и какое-то время молча курил. Потом, словно дым от папиросы наваял на него воспоминания, сказал, что им привязали на шею веревку и потащили к террасам Себастья. Сеньор Вилабру умер по дороге, а Жозепа – бедный мальчик – облили бензином и подожгли. А ведь соучастники этого убийства – местные жители, добавил он.

– Да что вы?

– Да, убийц было трое, но еще десяток-другой людей не захотели пачкаться, но это они донесли. Семейства Бринге, Гассья... и из дома Марии дель Нази тоже...

И вот теперь, стоя у окна дома Грават, Ориол созерцал последние лучи солнца, которые постепенно угасали, готовые уступить права надвигающейся ночи, и его охватила необъяснимая грусть. Но тут вдруг словно вновь взошло солнце, ибо в комнате появилась сеньорита Элизенда, прекрасная как никогда. Она улыбалась приветливой улыбкой и казалась расслабленной, но Ориол заметил, что, войдя, она прежде всего быстрым взглядом удостоверилась в том, что он не забыл взять с собой художественные принадлежности.

– Куда мне сесть? – с некоторым нетерпением спросила она.

Ориолу показалось, что на него нисходит благодать. Благодать, проистекавшая от сеньориты. Как случилось, что эта столь молодая женщина так похожа на богиню, а у него от одного ее вида заплетается язык и он не в состоянии выговорить сядьте здесь, на этот стул, вполоборота ко мне, вот так...

На Элизенде были серьги с бриллиантами, которые испускали благородное сияние всякий раз, как она хоть чуть-чуть двигала головой, и ослепленный Ориол пробормотал, что он скорее рисовальщик, нежели художник.

– Но портрет Розы великолепен.

– Спасибо.

Его переполняло волнение, поскольку помимо всего прочего он начал ощущать исходящее от этой женщины дразнящее колдовское благоухание, смесь свежего, мягкого аромата духов и чистого тела. Запах нарда, сказала Роза, не подозревая, что он уже несколько ночей грезит этим ароматом.

Ориол разложил тюбики с краской, палитру и кисти, стараясь не смотреть перед собой и страшно нервничая, ведь они впервые остались наедине. До этого он приходил в дом Грават с Розой, и, как правило, там находился кто-то еще. Сегодня все было по-другому. Великолепная, восхитительная, излучающая свет Элизенда, напоенный ароматом нарда воздух и белая ткань. Когда он открывал тюбики с краской, пальцы у него дрожали от внутреннего напряжения. Наконец он взглянул на Элизенду. Свою заказчицу.

– Она тебе заплатит?

– Так она, во всяком случае, сказала.

– Сколько ты попросил?

– Я не называл цену. Я ведь не знаю, сколько это стоит. Но она настаивает на том, что это оплачиваемый заказ.

Роза положила рубашку с воткнутой в нее иголкой в корзину для шитья и поднесла руку к животу, словно желая проверить, шевелится ли малыш, потом взглянула на Ориола своими печальными глазами и сказала проси у нее пятьсот песет.

– Думаешь?

– Да. Если попросишь меньше, получится, что ты мало себя ценишь.

– Но мне не за что особо ценить себя.

– Шестьсот.

Ориол провел рукой по лицу. Просить шестьсот песет у такой красивой женщины...

– Да, шестьсот, – уверенно повторила Роза. – И не тяни с этим, я ведь тебя знаю, ты можешь так ничего и не сказать.

– Но послушай...

– Шестьсот, Ориол.

Ему придется попросить у нее шестьсот песет. Сейчас? Когда закончит сеанс? Завтра? Никогда?

– Так хорошо?

Ты всегда хороша, как бы ты ни села.

– Послушайте, если вы не возражаете...

Ориол подошел к ней и, погружаясь в аромат нарда, поднял ее руку и осторожно опустил ее на подлокотник стула; потом робкими, трепетными пальцами бережно приподнял ее подбородок и слегка повернул лицо, дабы избежать излишней фронтальности позы. Возможно, он ошибся, но ему показалось, что по ее телу пробежала дрожь. Возможно, это была всего лишь игра воображения, но, когда он взял ее за руку, у него возникло ощущение, что она смотрит на него с едва сдерживаемым вожделением. Не знаю. Да. Кажется, это действительно было так.

– С меня впервые в жизни пишут портрет. – Она произнесла это с легким содроганием в голосе.

Чего бы мне хотелось, так это написать тебя обнаженной. Ты бы согласилась?

– Знаете что? Сегодня мы... Сегодня мы займемся только композицией. И пожалуй, несколько мазков, чтобы определиться со светом.

Я не осмеливаюсь просить тебя об этом, потому что это невозможно, но чего мне хотелось бы на самом деле, так это позировать тебе обнаженной: благородные руки, возвышенный взор... Не дотрагивайся больше до меня, потому что...

– Мой муж настаивал на этом портрете, но вместо того, чтобы пускать в дом незнакомца, я...

Как так получилось, что я никогда не видел твоего мужа? Почему здесь нет ни одной его фотографии? И почему он хочет, чтобы написали твой портрет?

Ориол осторожно отвел будто наэлектризованную руку от своей модели, отошел на несколько шагов, чтобы убедиться в том, что поза подходящая, и в крайнем волнении, с бешено колотящимся сердцем вернулся к мольберту. Начал углем для рисования делать наброски и немного успокоился.

– Вы подумали о цене?

– Ну... так... Нет никакой необходимости...

– Я настаиваю. Если вы не возьмете денег, я не буду позировать.

– Шестьсот... – пробормотал он в полном смущении.

– Что?

Сейчас пошлет меня к черту и обзовет вором, бандитом, ловкачом и хапугой.

– Пятьсот, – поправился он, смутившись еще больше.

– А, очень хорошо. Я думала, что будет дороже, правда.

Дурак. Идиот. Балбес.

Пауза. Пока отсчитываемые часами минуты наносили темные мазки на пейзаж за окном, Ориол с помощью угля воссоздавал на полотне лицо женщины.

– У вас найдется здесь какая-нибудь книга? – Он почувствовал вдохновение, поскольку начинал видеть картину. – Впрочем, все равно, возьмите фотографию. Так, словно держите книгу. Вот так.

От легкого движения Элизенды бриллианты в ее сережках вспыхнули россыпью переливов. У нее удивительно нежная шея. А какие артистические руки, какой высокий лоб. И какой голос.

Ориол подошел к сеньоре Элизенде и взял у нее снимок. Священник в сутане и шерстяной мантии, с цепочкой от наперсного креста в петлице и книгой в руке; приветливое лицо, скрывающее лукавую улыбку; он сидел в саду, за тем же столом, который можно было увидеть и на других снимках. Подле него капитан Анселм Вилабру, в гражданском, буквально сверлил объектив своим острым взглядом, но в целом выглядел, как и священник, весьма приветливым. Похоже, фотокамера запечатлела счастливый момент в жизни как того, так и другого.

– Возьмите ее так, словно это книга и вы ее читаете.

– Но она навевает мне не слишком приятные воспоминания.

– Ну тогда расскажите мне что-нибудь. Скажите, кто запечатлен на фотографии.

Пока Ориол возвращался к мольберту, она послушно начала рассказывать, сказала это мой отец и дядя Аугуст, его брат. Мой отец младше его. Вернее, был. Потом она несколько раз дотронулась пальцем до лица священника.

– Он не так давно вернулся из Рима. Ему пришлось бежать, когда... В общем, в тот день, когда умер мой отец. – Она вновь посмотрела на снимок, на этот раз очень внимательно, словно видела его впервые. – А ведь он так любил его.

Отец Аугуст Вилабру положил книгу на стол, скупым жестом отпустил фотографа и попросил брата сесть. Любезность на их лицах растаяла, как желе на солнцепеке.

– Хочу проинформировать тебя об успехах твоей дочери.

– Мне совершенно безразлично, клянусь тебе. Элизенда – всего лишь девушка. Вот чего бы мне действительно хотелось, так это чтобы Жозеп был немного умнее.

– Боже мой, Анселм! – огорченно воскликнул его брат. – Откуда в тебе столько ненависти?

– Не тебе меня упрекать.

– А почему не мне? Я на семь лет старше тебя, к тому же я священник и теолог.

– Ты математик в сутане, и тебя интересуют лишь твои интегралы и производные. Ты понятия не имеешь, что такое испытывать страх на поле боя.

– Пресвятая Богородица... – И возмущенно, но сдерживая себя: – Тебе только поле боя подавай...

– Не будь ханжой, ведь Библия полна крови, мертвецов и полей сражений.

– Не надо переводить разговор на другую тему.

– Ничего я не перевожу. – Капитан Анселм Вилабру, вынужденный уйти в отставку пять месяцев назад, в ярости вскочил на ноги и, наклонившись к брату, выкрикнул, словно выпуская в него смертельную пулю: – Ведь не ты же потерял из-за бездарного командования шестьдесят человек в Игерибене!

Отец Аугуст ничего не ответил. Его брат воспользовался моментом, чтобы растолковать ему: не надо никому об этом говорить, но знай, что мой настоящий враг – не Игерибен, не марокканское войско, не Эль-Хосейма, даже не подлый предатель Мухаммед Абд-аль-Крим. Моего врага зовут король Альфонс XIII... проклятый сукин сын, тупица, который ткнул пальцем с аккуратно подстриженным ногтем в карту, висевшую в зале, где он изволил играть в войну, и сказал здесь, я хочу, чтобы здесь, в Эль-Хосейме, высадилась наша армия, а все осталь-

ные пытались возражать: но, ваше величество, может быть, следовало бы сообщить об этом верховному командованию... А этот сраный король...

– Изволь придержать язык. Ты меня оскорбляешь.

– Хорошо. Так вот, да будет тебе известно, что, когда ему сказали ваше величество, следовало бы поставить в известность верховное командование, он снова ткнул указательным пальцем в Эль-Хосейму и заявил я сказал здесь; а остальные лишь растерянно переглянулись, не зная, что делать... Поэтому он мой злейший враг, да еще в довершение всего он лишает меня титула барона; так что это просто великолепно, что такой храбрый, мужественный и всеми уважаемый солдат чести, как генерал Примо де Ривера, наведет наконец порядок в сей разоренной стране, где нам, к несчастью, выпало жить. Я понятно изъясняюсь?

Капитана Анселма Вилабру обучали произносить речи в Военной академии, и с годами, как он полагал, его ораторское искусство только отшлифовалось и усовершенствовалось. Вот и сейчас он был полностью удовлетворен произнесенной филиппикой, и особенно тем, что, как ему показалось, его патриотический пыл затронул чувствительные струны души брата. В завершение он решил подкрепить достигнутый результат пророческим, по его мнению, заявлением:

– Любой компетентный военный, который пожелает навести порядок в этом хаосе, может рассчитывать на мою поддержку.

Не найдя, что сказать, отец Аугуст потряс полой сутаны. Давно он не чувствовал себя так неуютно со своим младшим братом. Во избежание окончательного поражения он решил избрать противоположную тактику и спокойным, задушевым тоном сказал:

– Понимаешь, я не люблю военных.

– Я стал военным по воле отца, так же как ты – священником.

Отец Аугуст вновь посмотрел брату в глаза:

– И еще я не люблю, когда унижают короля.

– А знаешь, что самое ужасное? Что всего того, что произошло в Аннуале и что, помимо всего прочего, стоило мне военной карьеры, можно было избежать.

– Высокая политика не для нас.

– А знаешь, что еще ужаснее?

– Твое сердце переполняет злость, и причина ее не в короле, а в Пилар.

– Так вот, когда в Игерибене мне отдали приказ выступать, я знал, что больше половины из нас погибнет. Но мы все равно выступили, потому что солдат должен подчиняться приказам.

– Да простит тебя Бог, Анселм. – Священник отчужденно взглянул на брата. – Ты уж извини, что я вмешиваюсь, но с тех пор, как Пилар...

– Какого года этот снимок? – спросил Ориол, только чтобы что-то сказать.

– Тысяча девятьсот двадцать четвертый, – прочла она под фотографией. – Это год, когда отец оставил военную службу и вернулся сюда.

– А ваша мать? Почему ее нет...

– Дядя Аугуст вернулся из Рима этой весной, но поскольку он каноник, то проживает в Сеу-д'Уржел... – Она улыбнулась. – Но он часто приезжает сюда. Ему нравится считать себя моим духовным наставником.

– А он действительно ваш наставник?

– Да, разумеется.

– Продолжайте рассказывать.

– Он настоящий мудрец.

– В чем это проявляется?

– Он опубликовал книги по алгебре и все такое, и его очень ценят за границей. – Она неловко улыбнулась. – А почему я должна говорить?

– Потому что иначе вы очень напряжены.

- Вы давно окончили педагогический институт? – контратаковала она.
- Еще до войны, я был совсем молодым.
- Знаете что? Мне очень понравилось, что у вас в доме столько книг.
- Но ведь это нормально, – проявил скромность Ориол. – Да и не так уж много у меня

книг.

- Сколько вам лет?
- Двадцать девять.
- Надо же, мы ровесники.

Вот тебе раз. Она только что призналась, что ей, как и мне, двадцать девять лет. А я думал – двадцать. Двадцать девять. Но где же ее муж?

- А как вы начали заниматься живописью?

Интересно, существует ли сеньор Сантьяго на самом деле, или это преграда, которую ты придумала для настырных кавалеров?

– У меня хорошо шло рисование, поэтому во время войны я окончил школу изящных искусств Ла-Льотжа.

- В Барселоне?
- Да. Я из района Побле-Сек. Вы бывали в Барселоне?
- Ну да, конечно. Я там училась.
- Где?
- В школе Святой Терезы в Бонанове.

Он украдкой бросил на нее взгляд. Школа Святой Терезы. Бонанова. Совсем другой мир в пределах одного и того же города. Его язык словно приклеился к пересохшему небу. Она между тем продолжала:

– Там я сформировалась духовно и интеллектуально, следуя указаниям дяди Аугуста, поскольку мой отец все время был в отъезде, он служил.

А мать?

– У меня очень плохие воспоминания о школе. Она располагалась в темном помещении на улице Маргарит.

- А у меня все наоборот. И когда я езжу в Барселону...
- У вас там дом?
- Да, конечно, потому что Сантьяго проводит там всю рабочую неделю.
- А также месяц, год...

– Понятно.

– Обращайся ко мне на «ты». – Она сказала это неожиданно для себя, но очень уверенно, у нее возникло такое ощущение, будто она скользит вниз по нескончаемому каменистому спуску, отрадному, как сама отрада. И она падает, падает в восхитительную бездну...

- Что вы сказали?
- Когда ты захочешь отдохнуть, я попрошу принести чаю.

Бог мой, эта картина доведет меня до инфаркта. Мне не следует принимать это так близко к сердцу... Не знаю.

- Ты ведь не был на фронте?
- Нет, из-за проблем с желудком.
- Повезло. Тебе нравится учительствовать?
- Да, но не надо меня тянуть за язык. Рассказывайте сами.
- Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказала, Ориол?

Бриллианты засверкали яркими переливами, хотя она даже не пошевелилась. Или это был блеск ее глаз?

6

Вместо того чтобы спросить, кто вы, что вы хотите, открывшая дверь женщина молча и отстраненно смотрела на нее, словно погруженная в какие-то беспорядочные, но назойливые мысли, отвлекавшие ее от реальности. Ее лицо было испещрено сетью извилистых морщин – отпечаток нелегкой, но не сломленной жизни, приближавшейся к семидесяти годам. Наконец ее глаза пробуравлили робкий взгляд Тины, которая, испытывая неловкость, спросила вы Вентура?

- Да.
- Старшая Вентура?
- Что, опять журналистка?
- Да нет, я... – Тина попыталась спрятать фотокамеру, но было уже поздно.

Она отчетливо увидела, как раздраженно сжалась удерживающая дверь рука, хотя на лице Вентуры это раздражение никак не отразилось.

– Девяносто пять лет ей исполнилось уже три месяца назад. – По-прежнему не теряя терпения: – Нам сказали, что больше никаких памятных мероприятий не будет.

- Дело в том, что я пришла совсем по другой причине.
- По какой же?
- Война.

Тина Брос даже не успела прореагировать, как женщина захлопнула перед ней дверь, оставив ее стоять на улице с глупым лицом и разочарованным видом, подобно охотнику, который, споткнувшись о корень, спугнул добычу. Она посмотрела по сторонам: вокруг не было ни души, и лишь пар от дыхания нарушал ее одиночество. На землю из холодного безмолвия вновь падали белые хлопья, и она подумала все-таки хорошо бы ей научиться убеждать людей. Пока она размышляла над тем, куда теперь двинуться, направо или налево, а может быть, зайти в кафе, дверь дома Вентуры вновь отворилась, и вздорная женщина, которая минуту назад захлопнула дверь перед ее носом, лаконичным, но властным жестом, не допускающим никаких возражений, предложила ей войти.

Тина ожидала встретить прикованную к постели старушку, сломленную годами и, возможно, горем, готовую бесконечно сетовать на свои несчастья. Но когда она вошла в скромную кухню-столовую дома семейства Вентура, то увидела строгую, одетую в темные одежды даму с редкими белыми волосами, которая ожидала ее стоя, опершись на палку и глядя на нее таким же проницательным взглядом, как и ее дочь. Похоже, в Торене у всех такой колючий взгляд, наверное от долгого молчания и бесконечно сдерживаемой ненависти.

- И что же вы собираетесь поведать мне о войне?

Помещение было небольшим. Здесь все еще сохранялись старый очаг и дровяная печка для отопления. У окна – чистая, аккуратная раковина для мытья посуды. В глубине на стене – непритязательная полка для посуды, заполненная потрескавшимися от горячего супа тарелками. В центре – обеденный стол, покрытый желтоватой клеенкой, а в углу – газовая плита. У противоположной стены невнятно бормотал что-то маленький телевизор, на экране которого скандинавские лыжники совершали головокружительные виражи, прыгая с какого-то немислимого трамплина; на накинутаой на него кружевной накидке Тина увидела открытки с видами, происхождение которых она не смогла идентифицировать.

– Да нет, не я. Я хотела, чтобы это вы мне рассказали... Я прочла ваше интервью в журнале «Очаг» и...

– И хотите знать, почему моя нога за тридцать восемь лет ни разу не ступила на Среднюю улицу.

- Вот именно.

Таким же властным жестом, каким ее дочь пригласила Тину войти, пожилая дама велела ей сесть.

– Селия, может быть, эта сеньора выпьет кофе.

– Не стоит беспокоиться...

– Свари. – И пояснила: – Я не пью кофе, но мне нравится запах.

Три минуты спустя Тина и Селия из семейства Вентура пили крепкий эспрессо; старуха смотрела на них так, словно сей акт представлял для нее какой-то особый интерес. Тина решила не торопить события и ждала, пока старая дама проявит инициативу. Ждать пришлось довольно долго, но наконец старшая Вентура произнесла они переименовали улицу, назвали ее улица Фалангиста Фонтельеса.

– А кто такой фалангист Фонтельес?

– Школьный учитель, который приехал в нашу деревню, когда закончилась Гражданская война. Чтобы у вас не оставалось сомнений, его полное имя – Ориол Фонтельес.

– Он был моим учителем, – вмешалась Селия. – Правда, я почти ничего не помню о той поре, я была слишком маленькой. – И она вновь укрылась за безмолвием кофейной церемонии.

– Он был предатель, изменник, и нашему дому он принес одни несчастья. Да и всей деревне тоже. – И совсем другим тоном: – Выключи телевизор, дочка.

– А что стало с женой учителя?

Селия встала и, не произнося ни слова, исполнила приказ. На экране финский лыжник, готовый вот-вот поставить новый рекорд, из-за отключения трансляции безнадежно завис в воздухе. Старуха Вентура задумалась.

– Не знаю. Уехала.

– Вот ее я совсем не помню, – сказала дочь, вновь усевшись за стол.

– С тех пор, чтобы купить хлеб, нам все время приходилось делать круг по улице Раза.

– Да, никто из нашего дома больше ни разу не ступал на эту улицу. – Слегка понизив голос: – В память о моем брате.

У Тины екнуло сердце. Она совлادала с собой и решила задать менее рискованный вопрос:

– А люди что говорили?

– Мы были не единственными, кто перестал ходить на эту улицу. – Старуха взяла чашку дочери и нетвердой рукой поднесла ее к губам, словно собираясь сделать глоток, но лишь с наслаждением вдохнула аромат кофе. Селия отняла у матери чашку, чтобы та ее не уронила, и поставила на место. Старуха, похоже, этого даже не заметила. – Рамона из дома Фелисо, бедняжка, так и умерла, не дождавшись нового переименования.

– А остальные?

– Бурес из дома Мажалс, Нарсис, Баталя... – Она прервала перечисление, чтобы вспомнить все имена. Взглянула на чашку с кофе и продолжила: – Семейство Савина, Бирулес... Ну и дом Грават, разумеется.

– Что они?

– Они были на седьмом небе от счастья; как они радовались, когда пришли националисты. А Сесилия Басконес, ну, у которой лавка, вот тварь, выскочила на улицу перед своим домом и принялась петь «Лицом к солнцу»...

Она сделала паузу, чтобы перевести дыхание, словно запыхавшись на бегу, и добавила все эти людишки были в восторге оттого, что улицу назвали в честь фалангиста Фонтельеса. Потом надолго замолчала, а Тина с Селией почтительно ждали, пока она снова заговорит. Тина подумала, что, судя по всему, все перечисленные имена огнем выжжены в памяти старой Вентуры.

Прошло целое столетие, прежде чем Тина осмелилась спросить:

– А остальные?

– Молчали. – Теперь она смотрела Тине прямо в глаза. – В этой деревне всегда было много немых. И много предателей.

– Мама...

– Но это правда! Назвать улицу именем этого ублюдка, который донес на моих дочерей, потому что подслушал их разговор в классе... – Она устремила взгляд в бесконечность, словно колеблясь, продолжать или остановиться. – Хотя было бы еще хуже, если бы улицу назвали в честь Тарги.

Дочь, очень деликатно, Тине:

– Прошло шестьдесят лет, но у нас все это засело в душе слишком глубоко. – На лице у нее проступила робкая улыбка. – В это трудно поверить, правда?

– А что это был за донос?

– Мы с сестрой все время боялись, потому что ходили слухи, что нашего отца ищут, чтобы убить, и мы обсуждали это в классе...

– И этот нечестивец услышал их разговор, – перебила ее старуха, – и тут же, не теряя ни минуты, побежал к алькальду докладывать и сообщил ему Вентура прячется у себя в доме, я слышал, как его дочки пяти и десяти лет от роду об этом говорили, они не знают, что делать, потому что еле живы от страха. И что же, вы можете поверить, что приличные жители деревни после этого продолжали считать его человеком, а не чудовищем? – Устремив взгляд в стену, она, похоже, созерцала прошлое. – А потом случилось то, что случилось.

Старуха перевела дух, постучала палкой по полу и повторила:

– Хотя, как я уже сказала, в этой деревне всегда было много предателей.

– Мама, эта сеньора может подумать, что...

– А зачем же она пришла сюда? Она сама хотела все узнать.

Мать с дочерью перебрасывались между собой фразами так, словно Тины здесь не было. Потом, чтобы прекратить спор, Селия произнесла сухим тоном:

– Мама, вы же знаете, что потом его схватили...

– И я больше так никогда и не увидела своего мужа. – Обращаясь к Тине, словно обвиняя ее в чем-то: – Что бы там ни говорили. Мы ведь к тому времени уже не жили вместе. Когда он ушел в горы, я сказала, что девочки и Жоанет останутся со мной, потому что мне-то ничего не сделают... Он предпочел борьбу. Всегда был...

Она замолчала, погруженная в воспоминания, непонятно, приятные или ранящие.

– ...с шилом в заднице. В молодости занимался переправкой грузов через перевал Салау. И всегда умудрялся найти что-то себе на голову. В доме Жоан просто задыхался, места себе не находил.

Селия сочла нужным вмешаться. С материнской нежностью она сказала старухе:

– Вот видишь? Что я говорила? Теперь тебе плохо будет. Старое лучше не ворошить.

– Я ему говорила, что фашисты ему ничего не сделают, но он предпочел бежать в горы.

– Всякий раз, когда она говорит о моем отце, у нее поднимается температура.

– Но Жоан был прав. Его еще как искали. Этот паршивый выродок Валенти Тарга из дома Ройя...

– Мама...

Старуха Вентура повысила голос, чтобы дочь не перебивала ее:

– Как же я радовалась, когда он разбил свою мерзкую башку о подпорную стену.

– Она говорит о том, что случилось много лет назад. – Селия Вентура выступила в роли переводчика. – Лет пятьдесят уже прошло.

Старуха углубилась в воспоминания. Селия молча потягивала кофе, не отвлекая ее от тяжких дум. Она знала, что мать вспоминает, как четверо мужчин в форме и с ними еще один, с тоской или отвращением глядевший куда-то вдаль, незадолго до ужина явились в дом Вентура, молча, даже не поздоровавшись, прошли внутрь, схватили Жоанета, которому было четырна-

дцать лет, затолкали его в угол, прижав к стене на глазах у ошеломленных сестер, и принялись грубо и настойчиво расспрашивать его, где прячется этот сукин сын его папаша.

– Оставьте мальчика в покое. Он ничего не знает.

В комнату вошла Глория Карманиу, мать семейства Вентура. Она спокойно положила у огня охапку дров, которые принесла из сарая. Вытирая о передник руки, показала на дымившийся на столе ужин.

– Не желаете ли отведать... – промолвила она.

Валенти Тарга отпустил горло мальчика и направился к женщине.

– Ну ты-то точно знаешь.

– Нет. Думаю, он где-то во Франции. – Она с вызовом и презрением посмотрела на вторгшихся в дом. – Вы знаете, где Франция? – Потом указала на человека в штатском, застывшего у порога с выражением гадливости на лице. – Пусть вам учитель объяснит.

За всю свою непростую жизнь дети семейства Вентура никогда не видели, чтобы человек буквально взлетал на воздух от хлесткой затрешины. Их мать сильно ударилась о буфет, на котором годы спустя будет стоять телевизор с лыжниками, отлетела от него и рухнула на пол. По ее щеке скатилась струйка крови. Ткнув ей в грудь еще горячей от удара рукой, Валенти заговорил тихим, очень тихим голосом, отчего его тон казался еще более угрожающим:

– Я знаю, вы видите, а потому скажи ему, чтобы он пришел в мэрию и сдался властям.

Ничего не видя из-за застилавших глаза слез, женщина попыталась подняться.

– Мы не видимся. Я не знаю, где он. Клянусь.

– Двадцать четыре часа. Если завтра до девяти часов вечера он не придет, его место займет вот этот.

Он указал на мальчика и взглядом отдал приказ подчиненным. Один из них, с темными кудрявыми волосами, заломил парнишке руки за спину и надел наручники; тот был так напуган, что даже не осмелился пробормотать «ой, мне больно». Его увели. В тот вечер ужин никому не полез в горло.

Ржавая железная калитка была открыта, и внутри раздавались какие-то удары. Тина посмотрела на небо цвета грязного снега; было такое впечатление, что вот-вот на их головы обрушится смертельный ледяной шквал. Было гораздо холоднее, чем утром, когда она стучала в дверь дома Вентура, и женщина подумала, что никогда не привыкнет к этому невыносимому холоду, проникающему внутрь, до самого сердца. Центральная грунтовая аллея вела к памятнику, который она фотографировала несколько дней назад. Он был не очень большим. Слева, в глубине за памятником, располагались ряды приземистых могил, слегка, совсем немного, поросшие сорной травой. Самое опрятное кладбище Пальярса. Даже чище погоста в Тирвии. Справа – еще один ряд надгробий и Жауме Серральяк, который с хмурым, неприветливым лицом с помощью резца и молотка обрабатывает каменную плиту, слишком большую для ниши, которую она должна закрыть: она явно выступала из нее с левого края. Он не захватил пилу, а теперь ему было лень идти за ней. И еще он проклинал Сеска, поскольку тот уже во второй раз неправильно снял мерки, и вот теперь ему приходилось исправлять его ошибки. Жауме внимательно разглядывал надпись на камне, когда заметил молодую женщину, закутанную настолько, что между шарфом и капюшоном у нее был виден только нос; она стояла перед старым памятником героям, павшим за Бога и Отечество, и глядела вправо, вглубь кладбища, следя взглядом за вспорхнувшей зеленушкой.

На могильной плите Ориола Фонтельеса Грау (1915–1944) довольно хорошо сохранилась эпитафия его героической жизни и ярмо и стрелы Фаланги, а кроме того, вокруг нее было меньше всего сорняков. Бурьян, которым заросли многие надгробия, ясно давал понять, что время – злейший враг памяти. А вот о Фонтельесе кто-то помнит. Тут Тина заметила, что удары молотка прекратились; каменотес приближался к ней, шаркая ногами. Она повернула

голову и увидела, что он снял перчатки и вытаскивает пачку сигарет из замызганного пакета, который, похоже, пережил железнодорожную катастрофу.

– Вы что, его родственница? – Он указал на могилу Ориола, стараясь скрыть любопытство и неловкость и затягиваясь сигаретой.

– Нет.

– Это хорошо.

– Почему?

Голубоглазый мужчина оглянулся по сторонам, словно в надежде на помощь. Потом выпустил из легких дым и, слегка смутившись, вновь указал на могилу Ориола.

– Здесь его никто не вспомнит добрым словом. – Он кивнул в сторону надгробия. – Хотя мне немного жаль, ведь он был моим учителем.

Он присел на корточки и любовно провел натруженной за годы работы рукой, не выпуская сигареты, по камню, словно счищая тонкий слой пыли с роскошной лакированной мебели.

– Эту плиту сделал мой отец, – сказал он, не поворачивая головы. – И памятник тоже.

– Ваш отец, по всей видимости, хорошо его знал.

– Он умер. – Мужчина обвел рукой вокруг. – А вот все голубовато-серые плиты – мои. – И добавил небрежно профессиональным тоном: – Новые веяния, новые запросы.

– Вы, наверное, много их за свою жизнь обтесали.

– Отец говорил, что в конечном итоге все жители округа проходят через наши руки... – Мужчина не спешил снова натягивать перчатки.

– Это действительно так?

– Я думаю, слова, которые мы вырезаем на камне, – это история человека, только в очень сжатом виде.

Тина подумала, что мужчина, пожалуй, прав: ведь действительно надписи на могилах – это лаконичное резюме жизни. Хосе Ориол Фонтельес Грау, 1915–1944. Рассказ с началом, концом и связкой внутри: тире между двумя датами, которое вбирает в себя всю жизнь. А если еще есть эпитафия, как в этом случае, то это синопсис его деятельности: мученик и фашистский герой, павший за Бога и Испанию. Вокруг могилы – ни пыли, ни травы забвения.

– Могила очень ухоженная, как это объяснить?

– Знаете... так бывает... Так бывает в этой деревне.

Голубоглазый мужчина сделал глубокую затяжку и, отступив на несколько шагов назад, указал рукой на расположенную поблизости надгробную плиту с желто-синим пластиковым цветком, который был привязан к ржавому кресту с помощью полуистлевшего шнура. На камне была изображена излишне слащавая, на взгляд Тины, голубка в полете.

– Жоан Эспландиу Карманиу, – прочла Тина.

– Вентура. Из дома Вентура.

– Я их знаю.

– Здесь покоятся дети, Жоан и Роза. Видите? Об отце ничего не известно.

– Возможно, он умер во Франции.

– Может быть. Но здесь он точно не захоронен.

– Роза Эспландиу Карманиу. Ее сердце было большим и чистым, как Монтсент, – прочла Тина и на какое-то время замолчала, почувствовав укол зависти, как, должно быть, происходило с каждым, кто задумывался над этой эпитафией.

– Роза Вентурета... – сказал мужчина, дотрагиваясь рукою, теперь уже в перчатке, до небритой щеки.

– От чего она умерла?

– От тифа. – И после небольшой паузы, которая показалась Тине печальной, добавил: – От тифа, и было ей всего двадцать годков. – И словно желая освободиться от нахлынувших воспоминаний: – И Жоан Вентурета.

– А он от чего умер?

– От пули.

До этой минуты Тина не обращала внимания на слова, выбитые под именем: подло убитый фашистами.

Жауме Серральяк с философским видом приподнял брови:

– Столько вражды и столько злобы, а в конце концов все равно все покоятся здесь, рядышком. Вот эти двое лежат здесь вместе уже сорок лет и дальше будут лежать. Мой отец всегда говорил, что это как сняться на общем фото: раз уж оказались вместе, то никуда от этого не деться.

Тина подошла к могиле семьи Вентура. Хотя цветок был из пластмассы, непогода его не пощадил; а может быть, он завял от жалости к одиночеству молодых представителей семейства. Мужчина вновь сделал глубокую затяжку, словно подчеркивая важность заявления, которое последовало за ней:

– Дурная это была история. Уж шестьдесят лет прошло, а раны все никак не заживают.

Он потряс головой, словно воспоминания давили на него тяжким грузом. И неожиданно оживился:

– Сколько всего ужасного тогда произошло... В доме Фелисо один покойник, в доме Миссерет – два, а семейство Тор потеряло на войне двух сыновей. А еще бедняга Маури из дома Марии дель Нази. Ну и убитые из дома Грават, конечно.

Он показал на семейную гробницу, располагавшуюся немного в стороне от того места, где они стояли. Потом вдруг понизил голос, словно опасаясь, что вокруг полно доносчиков.

– А представляете, есть такие, кто над всем этим потешается, – признался он. Сделал глубокую затяжку и выпустил дым. – В Торене совсем не много народу, но при этом не очень-то они между собой ладят. А вы журналистка?

– Я пишу книгу о селениях Пальярса. Дома, улицы...

– И кладбища.

– Ну... Да, думаю, да.

– На кладбищах вся история деревень как бы в застывшем виде. – Он показал на могильные плиты и склеп в глубине. – Усыпальница дома Грават отличается от других. Почти в каждой деревне есть хоть одна богатая семья. И на каждом кладбище – фамильный склеп. Когда делаешь надгробия, многое узнаешь.

Тине смутно вспомнилось что-то из Шекспира, но она не смогла восстановить в памяти точную цитату. Подошла к усыпальнице. Надпись гласила: семейство Вилабру, и главным украшением мавзолея была скульптурная композиция, автор Ребуль: ангел за письменным столом с открытой книгой, в которой он, как можно было предположить, записывал имена праведных душ семьи Вилабру для небесного входного реестра. И зловещее предсказание будущих смертей: три пустые ниши. Тина сфотографировала памятник.

Рядом с усыпальницей – скромная могила некоего глубокоуважаемого сеньора дона Валенти Тарги Сау, алькальда и руководителя местного отделения Национального движения, Алтрон, 1902 – Торена, 1953. Она почувствовала присутствие каменотеса у себя за спиной. Однако голос его показался ей удивительно далеким:

– Палач Торены. Полдеревни загубил.

Тина обернулась. Мужчина смотрел ей прямо в глаза.

– Он был алькальдом деревни?

– Да. Родом он был из мест, что там, внизу. – Мужчина указал на подошву Тининых туфель, словно Алтрон находился прямо под ней. – Поговаривали, он был любовником... В общем, всякое такое...

– Значит, застывшая история деревни.

Тина сказала это в надежде, что голубоглазый мужчина поведает ей, кого в деревне считали любовницей Валенти Тарги. Поэтому она решила побудить его к откровенности, повторив его слова:

– Это же как общий снимок, как говорил ваш отец.

Но вместо того, чтобы возобновить рассказ, Серральяк бросил на землю окурок и старательно затушил его. Затем, указав на надгробие Валенти Тарги и качая своей наполненной воспоминаниями головой, произнес:

– Да, а я ставлю под этими снимками подписи.

И отправился к плите, над которой работал. Тина же вернулась к могиле фалангиста Фонтельеса и сделала несколько снимков. Потом взяла более широкий план, чтобы в кадр попало надгробие семейства Вентура. Щелчок. Она не собиралась помещать эту фотографию в книгу. Это была ее дань памяти некоему Жоану Эспландиу Карманиу из дома Вентура, 1929–1943, подлю убитому фашистами. В глубине кадра, немного сбоку и слегка расплывчато, угадывалась усыпальница семейства Вилабру, почти незаметная, как зеленушка в полете.

7

Хотя Ориолу пришлось прождать полчаса, поскольку сеньора Элизенда беседовала с управляющим поместья и они задержались больше, чем предполагалось, подсчитывая головы скота и площадь подлежащих разработке лесных массивов, второй сеанс прошел более неприужденно. Сеньора Элизенда уже была просто Элизендой, печенье с самого начала было на столе, и Ориол занимался лишь тем, что переносил безупречное тело на холст, воспроизводил его, запечатлевал, в то время как она рассказывала ему когда разразилась война, я поехала в Сан-Себастьян. И именно там я познакомилась со своим мужем. Да, мы дальние родственники. Да, у него та же фамилия, что и у меня: Вилабру. Нет, он в Барселоне. У него очень много работы, и ему некогда сюда приезжать. Ну разумеется, я по нему скучаю. Но довольно, это нечестно.

– Простите? – Кисть Ориола застыла над левой грудью Элизенды.

– Мы же договорились перейти на «ты».

– Дело в том, что...

– Это приказ.

Ну что ж, коротко и ясно. Он возобновил медленное движение кистью по соблазнительной груди, выступавшей под гладкой тканью платья.

– Когда ты начнешь писать лицо?

– Прежде я хотел бы узнать вас... узнать тебя получше, привыкнуть к...

– Конечно.

– Ну не будь такой застывшей. Двигай спиной и шеей. Говори о чем-нибудь.

Если бы я могла рассказать тебе, какие чувства я начинаю испытывать. Если бы могла признаться, как я смущена и какие у тебя волшебные руки...

– Я не знаю, о чем говорить.

В комнату вошла Бибиана с дымящимся чайником. Взглянула Элизенде прямо в глаза, и та тут же отвела взгляд; подтвердив свои догадки, служанка деликатно выскользнула из гостиной. Ориол заметил, как женщины переглянулись, но сделал вид, что погружен в выписывание складки рукава.

– А чем занимается твой муж? – спросил он, когда они вновь остались наедине.

– Что-то тебя очень интересует мой муж.

– Да нет, нисколько. Это просто чтобы ты что-то говорила.

В основном всякими аферами при пособничестве двух полковников военного округа Барселоны и еще каких-то там властей. А еще, как мне сообщают те, кому положено сообщать

щать, всю ходит по бабам. Зарабатывает кучу денег и терпеть не может приезжать домой, поскольку не может смотреть мне в глаза.

– Нууу... занимается своими делами. Торговлей. У него фирма, точно не знаю, что за контора, но эта деятельность занимает у него все дни недели. Все время снует туда-сюда без передышки.

Она не хочет говорить о муже. Надо сменить тему. О чем же поговорить?

– А ты не хочешь жить не здесь, а в Барселоне?

– Нет. Здесь мой дом. Кроме того, мне нравится лично заниматься управлением землями. И здесь умерли мой отец и брат.

А твоя мать, Элизенда? Почему ты никогда не говоришь о своей матери?

Несколько мазков по шее для придания дополнительного оттенка. По утонченной, изысканной шее сеньоры Элизенды, которая теперь для него просто Элизенда.

– Розе понравились конфеты?

Коробка уже сама по себе была настоящим произведением искусства: из лакированного дерева с инкрустацией. А внутри – двенадцать конфет, как двенадцать драгоценных изделий. Роза взяла конфету в изумрудно-зеленой обертке.

– Почему ты сказал ей пятьсот?

– Я не решился...

– Надо было попросить тысячу, она все равно бы заплатила. Какой ты бестолковый.

Она развернула конфету и откусила половину:

– Восхитительная. Возьми, попробуй.

Конфета действительно была вкусная. Очень вкусная.

– Да, очень понравились. Она просила тебя поблагодарить.

– Я рада.

Элизенда стала рассказывать о дяде Аугусте и конкретно о книге, которую он недавно опубликовал, что-то связанное с интегралами и производными, о его известности, о занятиях, которые он проводил в Риме во время эмиграции (бежать его вынудила угроза коммунистической расправы) и которые принесли ему славу талантливого математика, как сообщили в епархии отцу Аурели Баге, приходскому священнику Торены, поскольку мой дядя, разумеется, совершенно не способен хвалиться своими достижениями. Однако она предпочла не рассказывать учителю о настойчивости, с которой отец Аугуст всячески намекал ей, что место супруги – подле супруга, пока однажды, совсем недавно, она не ответила ему так вот знай, если я поеду в Барселону к Сантьяго, то обнаружу его в окружении шлюшек. Так что больше мне о нем ни слова.

– Прости, девочка. Я не...

– Ну а потом, я вообще не собираюсь отсюда никуда уезжать. Я хозяйка дома Грават, управляю имением и делаю все для того, чтобы оно процветало. И назло всем недоброжелателям в этой деревне намерена стать еще богаче.

Бибиана знала, что после этого разговора Элизенда сменила кофе на чай, чтобы еще больше дистанцироваться от жителей Торены, и отказалась от прогулок по грязным деревенским улицам.

– Сколько ненависти в твоих словах! Ты напоминаешь мне... Хотя нет, оставим это.

– Кого я тебе напоминаю, дядя?

– Своего отца.

– Так ведь его убили. Отсюда и ненависть.

Боже мой. Дядю Аугуста тоже мучили тени и потайные закоулки человеческой природы. А вот число е было идеально прозрачно, иррационально и неоспоримо. Тем не менее в качестве старого наставника молодой особы он счел нужным сказать я не думаю, что подобные чувства пойдут тебе на пользу.

- Война оставила незаживающие раны в моей душе.
- Ты должна научиться прощать.

Элизенда не ответила и подумала об уроках, которые он же ей и преподавал, об Истинном Чувстве Справедливости и Божьей Каре; о врагах Католической церкви, которых она должна считать своими личными врагами, и о крепости духа, которую дарует жизнь в Истине. Кроме того, с благословения матери Венансии, он растолковал ей тайны бытия, содержащиеся в таких книгах, как «Дух Святой Терезы Иисуса», «Небесные страницы», «Образцовая семья» и «Средства, оберегающие от болезней души и исцеляющие их», принадлежащие перу distinguished Энрике д'Оссо, отца-основателя общества Святой Терезы Иисуса и истинного вдохновителя благочестия и веры. В один прекрасный день Рим непременно причислит его к лику блаженных. А впоследствии, дочь моя, он станет святым.

- Всеу свое время, – ответила Элизенда дяде после долгого молчания.
- Не шевели рукой. И выпрямись.
- У меня затекла рука.
- Ну хорошо, перерыв пять минут.

Пока они пили чай, Элизенда, которой теперь вовсе не обязательно было говорить, чтобы расслабиться, все же поведала ему, что как только это стало возможным, она послала управляющего заняться имением и вернуть владения, которые были экспроприированы у семьи, а затем они с мужем переехали из Сан-Себастьяна в Торену. Правда, она не упомянула о своей поездке в Бургос, о трех днях в Бургосе, серых, ненастных, но таких важных. Только сказала из Сан-Себастьяна мы, уже женатые, вернулись в Барселону. Провели там несколько месяцев, ничем особенно не занимаясь, а потом обосновались здесь, чтобы закончить хлопоты с имением. Однако Сантьяго прожил в доме Грават всего две недели. Ему все здесь не нравилось, он не переносил запаха скотины, к тому же в Барселоне у него была работа.

- Но ведь здесь жизнь такая приятная.

Ориол Фонтельес Грау, школьный учитель и живописец ее величества королевы Элизенды, жил в Торене всего три месяца. Он еще не утратил той иллюзорной искры, которую высекает новизна. Он еще не провел в Торене ни одной осени и ни одной зимы, не видел, как медленно она пробуждается весной. Поэтому он мог себе позволить роскошь питать иллюзии и заявить жизнь здесь такая приятная.

У Элизенды все было по-другому. Убедившись, что дом в порядке, что ни один злоумышленник на него не покусился, она стала подумывать о возвращении в родные места. Приняв окончательное решение, она сперва послала Бибиану, чтобы та все вычистила и вымыла. Когда наконец приехали они с Сантьяго, Бибиана рассказала ей о том, как новый алькальд, старший сын из дома Ройя в Алтроне, созвал всех жителей Торены на площадь Испании, в той части, откуда начинается улица Каудильо, представ перед ними в форме фалангиста в сопровождении еще пяти представителей Фаланги, никому не известных чужаков, которые стояли подбоченясь и молчали. И Валенти Тарга, которого отныне все должны были величать дон Валенти Тарга, произнес напыщенным и выспренным тоном пламенную наставительную речь на испанском языке, заявив, что его миссия в Торене заключается в том, чтобы исполнять и насаждать закон, наводить чистоту и порядок и освобождать деревню от скверны. И никто, даже сам Господь, не сможет помешать исполнению миссии, которую поручили мне Бог и каудильо. Ни один виновный не избежит наказания, если еще его не получил. Многие не поняли, что хотел сказать новый алькальд, но все уловили и правильно оценили тон речи. И поскольку то, что он собирался изречь далее, было чрезвычайно важным, он перешел на каталанский и сказал, чтобы всякий, кому есть о чем сообщить, приходил лично к нему. А если какому-нибудь несправедливому республиканцу придет в голову протестовать против чего бы то ни было, то он будет иметь дело со мной и больше не посмеет даже голову поднять. Клянусь самым генералиссимусом. И в заключение громко выкрикнул снова по-испански да здравствует Франко, вставай

Испания! Лишь люди в форме и Сесилия Басконес, которая тогда была совсем молоденькой, крикнули в ответ «да здравствует» и «вставай». В общем, диафрагмодиния или диафрагмальгия. Остальные же отводили взгляд и смотрели в сторону оврага Боньенте. Кроме обитателей дома Нарсис, которые, как и семейство Бирулес, украдкой улыбались, говоря себе наконец-то вернулся порядок, прекратился хаос и мы, приличные люди, снова сможем выходить на улицу, не боясь, что нам проломают голову.

– Немного порядка нам в Торене не помешает, Бибиана.

И служанка все поняла.

– Я собираюсь тут частенько работать на природе, – сказал Ориол, возвращаясь к мольберту.

– А ты и пейзажи пишешь?

– Рисую все, что могу. Я ведь дилетант.

Он стал рассматривать складки одежды на картине и обнаружил дефект на локте. Собрался было его исправить, но внезапно все внутри у него похолодело: он так явственно ощутил позади себя аромат нарда, словно нос у него был на затылке. Не смея повернуть голову, Ориол услышал нежный голос, говорящий может быть, ты и дилетант, но делаешь это просто превосходно.

Ориол все же заставил себя обернуться. Элизенда внимательно разглядывала полотно.

– Тебе неприятно, что я смотрю на незавершенный портрет?

– Нет, – солгал он. – Он твой.

На расстоянии одной пяди друг от друга. Это было невыносимо.

8

Двадцать первого июня одна тысяча девятьсот шестьдесят второго года Марсел Вилабру-и-Вилабру последний раз в своей жизни спустился по ступеням главного здания интерната (расположенного в наилучшем для комплексного образования – физического, интеллектуального и духовного – ваших детей месте), в котором он проучился первый, второй, третий (с двумя несданными экзаменами за второй), четвертый (с одним несданным за второй и одним за третий) классы и в конечном итоге сдал выпускные экзамены. И что ты теперь собираешься изучать, юноша, естественные или гуманитарные предметы, что ты предпочитаешь, к чему у тебя больше склонностей, я знаю, к чему у тебя больше склонностей... Я хотел бы изучать естественные науки. Нет, гуманитарные. Будешь изучать гуманитарные науки. Но мне бы хотелось... Чего бы тебе хотелось? Ну так вот, я бы хотел изучать что-то связанное с горами, лесами, снегом. Будь реалистом, Марсел: будешь изучать гуманитарные науки, а потом пойдешь на юридический факультет; так ты сможешь заняться семейным бизнесом, который, если ты помнишь, как раз связан со снегом. Но это совсем не то, я бы хотел... Посмотри на меня: я адвокат и, как видишь, живу совсем неплохо. А что говорит мама? Она тоже хочет, чтобы ты стал адвокатом, потому что если ты получал неуды, то это всегда была математика или физика. Пусть она сама мне это скажет. Она сейчас очень занята; в общем, пойдешь в гуманитарный класс. И вот пятый год обучения («неудовлетворительно» по латыни и греческому), шестой (с несданными латынью и греческим за пятый класс), пересдача экзаменов за шестой класс в сентябре, потом первая попытка поступления в класс предуниверситетской подготовки, вторая попытка поступления в класс предуниверситетской подготовки и наконец вступительный экзамен в университет. Итак, он спустился по интернатской лестнице, и вместо того, чтобы оглянуться и начать с ностальгией вспоминать лучшие моменты своего пребывания здесь (ты помнишь тот вечер, когда во время ужина мы открыли шкафчики... или уроки физкультуры в тумане на Викской равнине, правда же мы неплохо проводили время, разве нет?), он дождался, пока выйдет адвокат Газуль в сопровождении сеньоры Пол, говорившей ему вот наконец мы

и завершили обучение мальчика, теперь он вступает во взрослую жизнь, и, когда они подошли к нему и господин Газуль прощался с сеньорой Пол, Марсел Вилабру-и-Вилабру демонстративно сплюнул на землю и направился к черному автомобилю, в котором Хасинто убивал время, листая датский или шведский журнал с полуголыми женщинами, которым, вне всякого сомнения, грозила простуда. Марсел Вилабру не стал оглядываться на здание школы, где его учили тригонометрии, где он научился лгать, мастурбировать, кое-как склонять латинские существительные, предавать, дабы избежать наказания, произносить с жутким акцентом «Ô rage! ô désespoir!» и где он понял, что его мать – очень занятая женщина, которая распоряжается всем и вся гораздо в большей степени, чем любой мужчина из ее окружения, включая и его, и что с тех пор, как умер отец, она с ним толком не разговаривает, а лишь раздает с каждым разом все более четкие и сухие приказы, требуя их беспрекословного выполнения.

Путь домой трое мужчин (а, согласно сформулированному сеньорой Пол критерию, он теперь тоже мог считаться мужчиной) провели в полном молчании, и Марсел думал, что всякий раз, когда он приезжал домой, он оказывался в обществе этих двух мужчин, Хасинто и Газуля. Вообще, Газуля он видел чаще, чем отца. Практически единственным отчетливым воспоминанием, оставшимся у него об отце, был пытливый, испытующий взгляд, который тот бросал на мальчика, когда думал, что тот его не видит. Да еще ощущение, что отец его совсем не любит, что он лишний в его жизни. Впрочем, видел отца он крайне редко.

- Почему папа такой странный?
- Он совсем не странный.
- Он как-то странно на меня смотрит.
- Это все твои выдумки, сынок.
- А почему его никогда нет дома?
- У папы очень много дел.
- У папы много дел, у тебя много дел... Кошмар какой-то!

Тогда Элизенда впервые подумала о возможной смене образовательного учреждения для своего сына и о том, что, может быть, интернат Сант-Габриэл был не самым подходящим для него местом, что неплохо было бы разузнать об интернате Базилеа, который как-то упоминала Мамен Велес. Но тут жизнь дала трещину, и ей стало не до этого. Потому что шестого ноября тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, когда Марселу было всего каких-то девять лет, у сеньора Сантьяго Вилабру случился ужасный сердечный приступ, и он скончался. Слава богу, у него хватило вкуса не испустить дух в *Гнездышке* или каком-то другом борделе, равно как и на руках у неверной супруги, а достойно преставиться в штаб-квартире Вертикальных профсоюзов. В тот холодный ноябрьский день Сантьяго пришел туда вместе с доном Назарио Пратсом, гражданским губернатором и руководителем отделения Национального движения Лериды, чтобы встретиться с Агустином Рохасом Пернерой. Они решили вместе подняться на третий этаж здания и свести счеты с этим козлом Рохасом Пернерой, который украл у них всю прибыль от одной выгодной операции, основанной на контрабанде, спекуляции и мошенничестве (всего понемногу) и заключающейся в незаконной реализации нескольких партий американского сухого молока. Сия блестящая операция была разработана Вилабру и осуществлена благодаря связям Пратса. А этот гад Пернера прикарманил все денежки. И вот теперь они встретились лицом к лицу, и этот прохвост цинично улыбается им, ощущая себя в полной безопасности под портретами Франко и Хосе Антонио. Он нагло смотрит им прямо в глаза, потом бросает взгляд на матовое стекло, отделяющее их от коридора, и вполголоса говорит какие деньги, какая операция, друзья мои, здесь ни о какой операции ничего не известно. Ни здесь, ни где бы то ни было о ней ничего не известно. Ну и что? Пусть бы себе врал и выкручивался сколько угодно. Так нет, Вилабру (это притом, сколько ему пришлось всего в этой жизни вынести, особенно из-за своей женушки) не смог снести очередной издевательской улыбки этого проходимца и вздумал очокуриться прямо там, в кабинете. Бух, и рухнул на пол перед

столом этого говнюка Пернеры, а губернатор Назарио Пратс тут же смылся оттуда, даже не удосужившись проверить, что случилось с его приятелем: обморок, головокружение, несварение желудка, инфаркт или смерть. Он попросту не хотел, чтобы его застали в кабинете Пернеры перед неподвижно лежащим на полу человеком, вот и бросил бездыханного Вилабру. Увидимся позже, когда придешь в себя, а если ты и вправду помер, то можешь не сомневаться, я взыщу с Пернеры все до последней песеты, в том числе и твою долю. Я ведь в некотором смысле имею на это моральное право. Элизенда с сыном возглавили похоронную процессию; вдова прятала свое безразличие под кружевной мантилей, думая ты хорошо сделал, что умер, Сантьяго, ведь ты так мало значил в моей жизни, что я даже ненавидеть тебя не могла. Единственное хорошее, что я смогла обнаружить в тебе за тринадцать лет брака, – это то, что ты носишь ту же фамилию, Вилабру, что и я.

Все семейство Вилабру из известного рода Вилабру-Комельес, уже три поколения которого проживали в Барселоне, франкисты, бывшие ранее монархистами, а еще ранее – монархистами-карлистами, особенно по линии Комельесов, состоявших в родстве с семьей Арансо из Наварры, о которых говорили, что они были карлистами еще до того, как возник карлизм, так вот все Вилабру были чрезвычайно опечалены кончиной Сантьяго и высказывались приблизительно так: а я ведь буквально вчера беседовал с ним по телефону, и мне совсем не показалось, что...; или: да, всегда уходят лучшие...; или: что поделаешь, это закон жизни, хотя кто бы мог предположить... Подумать только, а мы с ним договорились повидаться на следующей неделе; какая нелепая смерть... А мальчику-то всего девять годков? Представь себе, бедняжке всего девять годков, в девять лет остаться без отца... И без баронства, как говорят... Да. А Элизенда все-таки очень уж надменная особа, вам не кажется? Но послушайте, она только что потеряла мужа. Нет-нет, я знаю, что говорю. Элизенда из тех, кто всегда смотрит сквозь людей, потому что их не замечает.

– Примите мои соболезнования, сеньора Вилабру, – напыщенно произнес Назарио Пратс, одна из самых важных фигур, наряду с министром сельского хозяйства и главами муниципалитетов Барселоны и Лериды, почтивших своим присутствием похороны Сантьяго Вилабру.

– Спасибо, я тронута.

И, грустно улыбнувшись единственному приехавшему министру, подошла к губернатору и прошептала ему на ухо доля Сантьяго раньше принадлежала Сантьяго, а теперь мне. Если не хотите, чтобы я на вас донесла.

Вытерев внезапно вспотевшие ладони, дон Назарио ограничился тем, что приложился к ручке сеньоры Вилабру, а не имевшие непосредственного отношения к семейству приглашенные долго еще обсуждали, какая шикарная сеньора и какого черта она прозябает в этих диких горах.

Вот так и случилось, что Марсел не оплакивал смерти своего отца и не поступил в интернат Базилеа; и так случилось, что он продолжил влачить жалкое существование и терпеливо ждать получения аттестата в школе Сант-Габриэл, а когда приезжал на каникулы в Тука-Негру, то никогда не оставался на Рождество дома, потому что предпочитал резвиться в горах с Кике, который показал ему лучшие места для катания и попутно незаметно научил его любить горы. И какими же скучными казались мальчику летние каникулы без снега и без Кике!

9

Она приготовила немного овощей. Ей нравился запах цветной капусты, который, как в детстве, заполнил дом. Он создавал ощущение уюта, особенно когда по другую сторону окна на спящие улицы в беззвучном плаче по-прежнему падал снег. Должны же в жизни оставаться хоть какие-то удовольствия. Когда она услышала звук открывающейся двери, сердце у нее екнуло, потому что она уже решила, как начнет разговор. Сегодня это непременно случится.

Да, сегодня. Она скажет Жорди, ты меня разочаровал, ты лжец, ты обманул меня и тем самым оскорбил до глубины души. Потом все будет зависеть от реакции Жорди. Как трудно говорить правду. Она повернулась к двери, готовая сказать Жорди, ты разочаровал меня, потому что обманул, но слова застыли у нее на языке, потому что это был не Жорди, а Арнау; сын бросил свою полную тайн сумку посреди комнаты и поцеловал ее.

– Ты откуда здесь? Разве ты...

– Дело в том, что я должен сообщить вам очень важную вещь. – Он огляделся вокруг. – А где папа?

Словно в ответ на сыновний призыв на пороге появился Жорди, насвистывающий какой-то неопределенный мотив. Снял куртку и только тогда заметил Арнау. Доктор Живаго насто- рожился, удивленный присутствием в доме всех троих членов семьи одновременно.

– Почему ты дома? – С некоторой досадой: – Разве ты не со своей бандой кокаинщиков?

– Я только что подал заявление о вступлении в бенедиктинскую общину монастыря Монтсеррат. Хотел вам об этом сообщить.

Все трое застыли, словно фигуры рождественского вертепа на фоне снега, медленно пада- ющего за окном хлева; Тина смотрела на Арнау, а Жорди, раскрыв рот, переводил взгляд с вола на ослицу.

– Так что со следующей недели я – послушник в монастыре.

Тина удрученно опустила на стоявшее рядом кресло. У нее совершенно выветрилось из головы все, что она собиралась сказать Жорди (ты меня разочаровал, ты лжец...), и она вдруг впервые увидела сына таким, какой он был на самом деле: совершенно незнакомый человек, выросший рядом с ней и одновременно где-то очень далеко.

– Что за глупости! – пробормотал Святой Иосиф, бросая на диван куртку.

– Никакие не глупости. Мне достаточно лет, чтобы решать, что я хочу делать со своей жизнью.

– Но, сынок, если ты... – Тина с отчаянием осознала, что ее мечта дать сыну идеальное воспитание оказалась утопией. – Но ты же даже некрещеный! Мы воспитывали тебя свободным гражданином!

– Я крестился. Принял крещение три года назад.

– А нам почему ничего не сказал об этом?

– Чтобы не огорчать вас. Возможно, я был не прав.

– Минуточку-минуточку. – Жорди начал приходить в себя после неожиданного удара. – Ты ведь нас разыгрываешь, правда? – И с видом все понимающего, располагающего к себе отца, из тех, о ком обычно говорят, что он скорее друг, чем отец своему ребенку: – Съемки скрытой камерой? Пари с друзьями? Или просто хочется дурака повалить? Ты что, забыл, что на дворе двадцать первый век? Забыл, что мы воспитывали тебя в духе мультикультурализма, трансверсальности и абсолютной свободы?

– Да нет, что ты. Но я верующий человек; я верую в Бога и чувствую монашеское при- звание. – Он произнес эти слова неторопливо, опустив глаза, но четко и ясно.

– Какое еще призвание, черт побери! – подскочил Жорди, оскорбленный скорее мягким тоном сына, нежели его признанием.

– Но почему ты никогда не говорил нам, что хочешь... что тебе... Почему, сынок? Почему?

Всякий раз, когда Тина начинала сыпать бесконечными «почему», она знала, что битва проиграна, потому что спрашивать себя, как случилось бы, если бы... было совершенно бес- полезным упражнением, ибо все уже случилось без всякого «если бы» и надо было принимать все таким, как есть, без «если». Почему Жорди оказался неверным мужем и обманывает меня, почему Арнау мне совсем не доверяет, что я делала не так, чтобы оба дорогих мне мужчины превратились в чужих незнакомцев, почему все так, Бог мой, в которого я не верю?

– Послушай, Арнау, – воспользовавшись оторопелым молчанием Тины, Жорди решил вмешаться, избрав на этот раз теплый, проникновенный тон, – мы воспитывали тебя в свободной атмосфере, всегда были рядом, во всем поддерживали тебя, постарались внушить тебе нашу веру в принципы гуманизма, в синтез культур и...

– Что ты хочешь этим сказать?

– Что мы учили тебя не впадать в суеверия, объясняли тебе, что величие человека зиждется на честности и что поступать хорошо означает быть честным с самим собой и с другими, особенно в этом с каждым годом все более глобализованном мире, и что все, что Церковь уже много веков вбивает нам в голову, – не что иное, как обман, способ держать власть над людьми. Разве мы не объяснили тебе достаточно ясно все это?

– Но меня никто не принуждал верить в Бога.

– Стань, в конце концов, экологом. Но только, пожалуйста, не монахом.

– Папа...

– У нас в доме ты никак не мог попасть под влияние религии, черт возьми!

– Но зато мог вне дома.

Кто же тебя совратил? подумала Тина. Кто преследовал тебя и манипулировал твоим сознанием, дабы заставить тебя исполнить свою священную волю? Тина услышала, как ее муж очень серьезным, даже несколько театральным тоном говорит Арнау сынок, мне было приятно думать, что я воспитал своего сына в уважении к справедливости и свободе, чести и достоинству, и я полагал, что мы во всем подавали тебе хороший пример, и тут она чуть не взорвалась от ярости и чуть не выкрикнула заткнись, Жорди, ты не имеешь права говорить о справедливости и свободе, о честности и достоинстве, потому что ведешь двойную игру и лжешь мне, и еще ты так труслив, что скрываешь от меня свои мечты, поскольку мне нет в них места.

Три чужих человека, живущих в одном доме, подумала Тина; три чужих человека, проживших вместе двадцать лет, по существу сейчас признаются в том, что плачевный результат, к которому они пришли, не стоил того, чтобы тратить столько лет жизни на совместное существование.

– Может быть, ты недоволен тем воспитанием, которое мы тебе дали? – спросила она еле слышно.

– Я этого не говорил.

– Но ты дал нам это понять, – сказал его отец.

– Нет. Хотя, похоже, единственное, что вас заботило, – это чтобы у меня под рукой всегда были презервативы и чтобы я не кололся.

Острая боль пронзила сердце Тины. А ведь я думала, сынок... Мы всю жизнь занимаемся воспитанием чужих детей, но при этом никто не научил нас воспитывать своих, а когда ты начинаешь что-то понимать, уже поздно, потому что дети исчезают из нашей жизни, не давая нам второго шанса.

Видя, что жена погрузилась в раздумья, Жорди бесцеремонно сбросил Доктора Живаго с дивана и, усевшись на его место, тяжело вздохнул с явным намерением вызвать сочувствие у своего сына. Потом внезапно ударил себя по коленям.

– Это невыносимо! – взорвался он, перейдя на другой регистр. – Ты – монах? Мой сын собирается стать монахом? – Он возмущенно вскочил на ноги и посмотрел на Тину в надежде на безоговорочную поддержку. – Я не хочу, чтобы мой сын был рабом.

– Но я никакой не раб, – по-прежнему мягким, тихим голосом ответил тот. – Я хочу придать глубокий смысл всем своим поступкам.

– А учеба на факультете журналистики?

– Меня это совсем не интересует.

– А твои товарищи, соседи по квартире, девушки?

– Они живут своей жизнью, а я – своей. – Решительно, тоном, не допускающим возражений: – Как бы там ни было, через неделю я уйду в монастырь. – Он посмотрел родителям в глаза. – А вас я прошу только об одном, если это возможно, – о вашем благословении. – Он помотал головой. – Простите, о вашем согласии.

– Невероятно.

– Я хочу, чтобы ты был счастлив, Арнау.

Будь хоть ты счастлив, раз уж это не дано всем трем, потому что если Жорди скрывает от меня свою жизнь, значит он несчастлив, а что до меня, так с того дня, когда Реном сказала мне я видела твоего мужа в Лериде, он почти не изменился, а он в это время должен был находиться в Сеу, на двухдневном слете, и потом он долго мне рассказывал, как все прошло в Сеу, с того самого дня я навсегда перестала быть счастливой, потому что счастье – это когда ты в согласии с собой и с теми, кто является частью тебя, а Жорди теперь перестал быть частью меня.

– Мне жаль, что я не смогла воспитать тебя иначе, – заключила она со вздохом. И посмотрела на Доктора Живаго, который ответил ей безучастным зевком. В груди закололо сильнее обычного. Это наверняка от расстройства.

– А я не готов смириться с потерей сына, да еще такой постыдной. – Жорди предпринял еще одну попытку.

Ты даже не осознаешь, что мы давно уже его потеряли, Жорди, удрученно подумала Тина.

– Так вы даете мне согласие?

– Да.

– А я нет.

– В душе я буду переживать, но уйду в монастырь и без твоего согласия, папа.

– И что, многие об этом знают?

– Тебя волнует, что скажут люди? – вспыхнула Тина.

– Разумеется! – Он в раздражении повернулся к Арнау. – Послушай! Я не хочу, чтобы ты позорил меня перед... – И словно сдавшись: – Ладно, оставим это. Ты – свободный человек. Столько лет бороться за то, чтобы общество стало хоть немного справедливее, а тут мой собственный сын...

Это ты, что ли, боролся, ничтожество? подумала Тина. Боролись те, кого Ориол Фонтелес перечисляет в своих тетрадях, а ты, да и я...

Жорди нервно потер ладони, понимая, что потерпел поражение.

– А эти долбаные монахи не могли проявить учтивость и предупредить нас?

– Я попросил их не вмешиваться. Ведь это я ваш сын, а не они.

– Когда говоришь, ты уезжаешь?

Несмотря на весь свой гнев, Тина уже несколько минут размышляла о том, что должен взять с собой ее сын, отправляющийся в монастырь, сколько смен белья, сколько рубашек и носков, дадут ли тебе сутану, или как там это называется, уже с первого дня и как ты будешь себя чувствовать в таком наверняка неуютном здании, ведь точно подхватишь простуду от гуляющих по нему сквозняков; надо дать тебе теплую фуфайку, и, наверное, следует потихоньку сунуть в сумку книжку, чтобы тебе не так скучно было по вечерам, да и колбаски надо положить на тот случай, если монастырская еда тебе не понравится, и как нам теперь тебя называть: отец, брат, преподобный или просто Арнау? Только бы тебе не сменили имя, сынок, мы ведь нарекли тебя так на всю жизнь. Арнау, сынок, и когда же мы сможем тебя навестить?

10

В меру пухлые губы слегка темноватого оттенка розового. Немного, почти незаметно выступающие скулы. Четко очерченный овал лица, на котором выделяются глаза, полные таких тайн, что в них невозможно проникнуть. Не буду их пока трогать. Волосы...

– Ты должна всегда причесываться одинаково.

– Ну да, конечно. Я как-то не подумала об этом. Так я в порядке?

Самый нелепый вопрос из всех, какие ему когда-либо задавали. Ты всегда в порядке.

– Если тебя ничто не беспокоит... Но постарайся причесаться точно так же для следующего сеанса.

– О чем мы будем сегодня говорить?

– Я буду молчать, мне надо сосредоточиться. Говори ты. Расскажи о своем детстве.

Я была не очень счастливым ребенком, потому что мама нас покинула и я не знала почему, до тех пор пока брат не поведал мне по секрету только пообещай, что никому не расскажешь, а то я тебя убью, мама сбежала с одним сеньором. А что это значит, Жозеп? Это значит, что мы ее больше никогда не увидим, поэтому и папа все время как будто не в своей тарелке. А что значит «не в своей тарелке»? Да не знаю я, но если ты ему это скажешь, я тебя убью; или папа тебя убьет. Давай, поцелуй крест и клянись мне, что никому ничего не скажешь. И Элизенда поцеловала крест и сказала клянусь, что больше никогда не скажу «не в своей тарелке». Да нет, что ты не расскажешь про маму. И Элизенда снова поцеловала крест и сказала клянусь, что никому не расскажу, что мама сбежала с каким-то сеньором. А потом проплакала пять дней и пять ночей, потому что теперь ей, видно, никогда больше не увидать свою мамочку. Но не могла же она сейчас рассказать все это едва знакомому художнику... И Элизенда погрузилась в задумчивое молчание, глядя куда-то вдаль, пытаясь там, среди прозрачных облаков воспоминаний разглядеть лицо своей матери, неясный расплывчатый образ, острые, словно иглы, глаза и беспокойные, все время что-то теребящие пальцы. Я даже не знаю, жива ли она, да и знать не хочу. Воспоминание о матери было туманным и терпким, похожим на кисло-сладкий привкус, который остается после того, как ты произнесла «мама» и не услышала в ответ «что, доченька».

В следующие полчаса ни художник, ни модель не произнесли ни слова. Они вдруг поняли, что им уютно сидеть друг возле друга в полной тишине. Что нет никакой необходимости заполнять паузы робкими словами. Что так приятно каждому молча погрузиться в свои воспоминания. Она все еще думала о своей непутевой матери, а он вспоминал день, когда его семейство перебралось сюда: Роза – на натужно фырчащем такси, с чемоданами и с еще едва обозначившимся животиком, а он – сзади, на мотоцикле, после невыносимо долгого переезда из Барселоны, первый час которого они провели в темноте, второй – поджариваясь на палящем солнце, а после Балагера, когда выехали на дорогу, ведущую в это забытое богом местечко, где наверняка не было места ни горестям, ни радостям, оба и вовсе были уже чуть живы.

Они прибыли в полдень на Главную площадь Торены, которая к тому времени уже называлась площадью Испании, и начали разгружать тюки из такси (немного тарелок, немного книг, несколько смен одежды, портрет Розы...), не зная, куда направить стопы, ибо площадь была совершенно безлюдна, хотя пронзительные взгляды, устремлявшиеся на них из окон, буквально испепеляли им затылки.

– Наверное, здание в глубине – это школа, – сказал Ориол, пытаясь зажечь искорку надежды во взгляде.

Они остались в полном одиночестве, поскольку такси уже развернулось и, натужно фырча, тащилось по шоссе в Сорт в поисках тарелочки вязкого риса. Ибо в чем в этом захламстве знали толк, так это в рисе.

– И жилье учителя должно быть где-то поблизости.

– Думаю, да.

Нагруженные вещами, они неуверенно направились к небольшому школьному зданию, сразу за которым деревня уступала место сельскому пейзажу. А в это время в мэрии Валенти Тарга уже знал, что в деревню приехал новый учитель, который наверняка в данный момент

занимается поисками своего обиталища. Он затаился папиросой, выпустил дым и сказал себе что ж, рано или поздно он придет сюда.

Жилище учителя оказалось крохотной квартиркой, расположенной поодаль от школы, на противоположной стороне площади, с маленькими оконцами, единственным назначением которых было, по всей видимости, поддержание темноты и сырости в помещении; там были кровать, шкаф с зеркалом, раковина для мытья фаянсовых тарелок, которые Роза несла в плетеной корзине, и две электрические лампочки по двадцать пять ватт каждая. И гнетущая нищета.

– Я же говорил, что тебе не следует ехать, пока я...

– Почему я должна была бросить тебя одного?

Роза огляделась вокруг. Потом подошла к мужу и с утомленным видом, свойственным беременным женщинам, поцеловала его в щеку:

– Главное, что нам дали это место.

Главное, что они получили работу, даже если для этого пришлось отправиться к черту на куличики; потому что сначала им сказали, что преимущественным правом обладают фронтовики. Но фронтовикам-победителям вовсе не хотелось ехать в забытую богом деревеньку на краю света, где нет места ни горестям, ни радостям и где все еще продолжают стрелять; они желали работать в больших городах, а потому всячески щеголяли своей безграничной преданностью новому режиму. Место учителя в Торене оставалось вакантным, потому что никто не знал, где находится эта Торена. Они тоже не знали. Им сказали, что в церкви Святой Матроны в Побле-Сек есть очень полная и подробная энциклопедия в двадцати томах, в которой есть все, и Ориол Фонтельес со своей женой Розой отправился туда, чтобы узнать хоть что-то о деревне, в которую их направили, когда они уже совсем отчаялись, уверившись, что молодой учитель, который не был ни на одном из фронтов благодаря своевременно обнаруженной язве желудка и который по причине той же самой язвы даже не проходил военную службу, не получит места нигде. В энциклопедии в двадцати томах было написано, что Торена – это идиллическое место, расположенное около Сорты, в комарке Верхний Пальярс, и, согласно последней переписи населения, в деревне проживает триста пятьдесят девять жителей. (Более двадцати ее обитателей вынуждены были эмигрировать, а тридцать три человека погибли на войне: двое – во время фашистского восстания, а остальные – в результате развернувшихся впоследствии военных действий. На самом деле там было еще несколько человек, которые, по всей видимости, должны были скоро умереть, хотя и не подозревали об этом, а посему не числились ни в каких статистических сводках, ибо один Бог ведает, что нас ждет завтра.) Важнейшие сельскохозяйственные культуры: картофель (прежде всего), пшеница, рожь, ячмень, некоторое количество яблонь, произрастающих на террасах Себастья (где было совершено несколько убийств), а также кое-где, спорадически, на солнечной окраине полей – капуста и шпинат. Имеется также значительное поголовье крупнорогатого скота и овец, что обусловлено обилием естественных лугов. Деревня расположена на высоте тысяча четыреста восемь метров над уровнем моря (и там ужасно холодно, свитер приходится надевать даже летом). Помимо приходской церкви, посвященной святому апостолу Петру, там есть школа для сорока детей из самой деревни и окрестностей (куда не ходит только Тудонет из дома Фаринос, поскольку он ребенок во всех отношениях отсталый и родители не хотят, чтобы его кто-то видел).

– Просто райский уголок, – закрывая энциклопедию, подвел итог Ориол без всякой иронии в голосе, поскольку, в отличие от Бибианы, он не умел предсказывать будущее. – Наверняка воздух там очень полезен для легких.

Через несколько дней после того, как решение было принято, Ориол стал настаивать на том, чтобы Роза не уезжала из Барселоны, потому что в горах очень холодно и ей совсем незахочет ехать в деревню до родов, а посему на данный момент ей лучше всего остаться в городе. Но Роза заупрячилась и заявила, что она всегда будет следовать за ним, куда бы он ни направ-

лялся, и если ей суждено родить в горах, значит там она и родит, как это делают все женщины Торены. И говорить больше не о чем. Больше и не говорили.

И вот они здесь, в этом мире покоя и холода. Стоя с книгами в руках посреди комнаты, Ориол смотрел на тюфяк, набитый сухими кукурузными листьями, который будет служить им семейным ложем, и на стены цвета кофе с молоком, прокопченные дымом дровяной печки.

– Какая восхитительная тишина, правда? – Роза закашлялась, прижав к носу платок.

– Да, – прошептал он. – Какая восхитительная тишина.

Он положил книги на стол, и супруги принялись разбираться с дровяной печкой. На улице послышался шум мотора. Сквозь крохотное оконце они увидели, что прямо посреди пустынной площади остановился черный автомобиль и из него по очереди стали выходить... вот это да! Да это же фалангисты!

– Матерь Божия!

Три. Нет, четыре, пять молодых фалангистов с аккуратно зачесанными на ровный пробор волосами; они шумно захлопнули дверцы машины и решительно направились в ту часть площади, которую из окна было не разглядеть. Ни Ориол, ни Роза не проронили ни слова, поскольку хорошо знали, что выступающая твердым шагом группа фалангистов не сулит нормальным людям ничего хорошего.

Спустя четверть часа Ориол познакомился с Валенти Таргой; учитель поспешил в мэрию подписать бумагу о том, что приступает к работе, пока кому-нибудь в некой высшей инстанции не пришло в голову изменить свое решение. Так в служившей кабинетом небольшой комнате со стенами блекло-зеленого цвета, тухлявой деревянной мебелью и красной напольной плиткой впервые встретились Валенти Тарга, палач Торены, и Ориол Фонтельес, ее учитель. Сеньор алькальд был в фалангистской рубашке с засученными рукавами, у него были тонкие усики над верхней губой и влажный взгляд серо-голубых глаз, контрастирующих с черными волосами. На лице проступали первые морщины, но все его тело источало деятельную энергию, необходимую для того, чтобы оправдать звание палача Торены. Двое мужчин из тех, что приехали в деревню на черном автомобиле, вошли в кабинет, а затем покинули его, не спросив разрешения и даже не взглянув на Ориола, словно он был мелкой букашкой. Они говорили по-испански. И во всем этом была виновата хранившаяся в церкви Святой Матроны в Поблесека энциклопедия в двадцати томах, которая не проинформировала молодую семью о том, что помимо несомненной пользы для здоровья Торена обладала одним недостатком: там проживало несколько приговоренных к смерти, которые больше не могли ждать.

– Значит, встречаемся после обеда в кафе, – произнес в качестве завершающего аккорда их краткой беседы алькальд. – Сегодня и впредь каждый день, вне зависимости от того, есть в школе занятия или нет.

Это был приказ, но Ориол по наивности этого не понял, потому что ответил, что у них очень много дел по дому – надо прибраться в жилище, разложить вещи по шкафам, вернее, в единственном шкафу, – но, разумеется, как-нибудь потом...

– В три часа в кафе, – безапелляционно заявил алькальд, отвернувшись от посетителя и всем своим видом демонстрируя, что больше говорить не о чем. Только тогда Ориол понял, что это был приказ, и сказал да, сеньор алькальд. Потом взглянул на портреты Франко и Хосе Антонио, висевшие на стене позади алькальда, и подумал, что этим стенам не помешала бы свежая покраска. А в таверне Мареса в это время парочка бездельников полушепотом обсуждала, что сеньор Тарга только что приобрел половину склона Тука-Негры, принадлежавшего семейству Каскант. И это притом, что земля не выставлась на продажу. Получалось, что в тот самый день, когда Томаса обвинили в том, что он республиканец, эта часть Туки волшебным образом немедленно была выставлена на продажу, а тут уж кто смел, тот и съел. Вот так-то. Но знаешь, мне говорили, что на самом деле покупателем был не он. Тут им пришлось сменить тему беседы, потому что в кафе, как всегда после обеда, появился алькальд, чтобы

молча покурить за столом, где помимо дона Валенти Тарги, алькальда и руководителя местного Национального движения, сидел один из его прихвостней в форме фалангиста, мужчина с темными кудрявыми волосами, такой же молчаливый, как и его шеф; сегодня они явно проявляли нетерпение, словно поджидая кого-то. Придя в кафе в три часа, Ориол обнаружил, что немногие посетители заведения тоже упорно хранят молчание и, делая вид, что спокойно играют в карты, на самом деле всячески стараются уразуметь, на чьей же стороне этот новый учитель.

А ночью, когда все уже знали, на чьей он стороне, Ориол и Роза, с трудом сдерживающая кашель, занимались любовью на матрасе, набитом кукурузными листьями, стараясь из-за беременности проявлять осторожность и, главное, не шуметь, дабы не нарушить восхитительной тишины сего идиллического уголка мира. Но с того дня у учителя отчего-то все время подрагивали руки, словно им было ведомо все, что должно было случиться. Руки. Три вещи труднее всего передать в портрете: руки, глаза и особенно душу. Руки Элизенды были словно две белые голубки в полете: изящные, уверенные, гармоничные. Скоро ему придется взяться за них. Глаза он оставит на потом, когда сможет спокойно, не опасаясь последствий, смотреть в них. Ну а душа... душа не в его власти. Она либо проникнет на полотно по собственной воле, либо останется за его пределами с гримасой презрения на челе.

– Передохнём немного, Ориол?

– Отлично.

– Почему бы тебе не пригласить Розу выпить с нами чаю? – сказала Элизенда, вставая с кресла и вытягивая вперед руки, чтобы слегка размяться; она сделала это так просто и непринужденно, что Ориол пришел в замешательство. – Хочешь, я пошлю за ней?

Это потому, что она хочет защититься от меня? Неужели она меня боится?

Видя нерешительность Ориола, Элизенда позвонила в колокольчик и сказала Бибиана вели Хасинто сходить за сеньорой Фонтельес и пригласить ее к нам. Очень хорошо, Хасинто, ты все делаешь очень хорошо.

11

Монтсе Байо? Да она мямля.

– Но у тебя слюнки текут, когда она оказывается рядом.

Марсел пресек сию дерзкую инсинуацию страстным поцелуем, от которого у нее перехватило дыхание. Здесь распоряжался он: он находился на своей территории и было почти восемь часов вечера. Но он должен был следовать правилам игры, соблюдать нормы приличия, и поэтому, когда она спросила, откуда эти вещички, он оторвался от нее и принялся разглядывать стоявшие на каминной полке статуэтки, как будто видел их впервые.

– Не знаю. Они всегда здесь были.

– А эти часы?..

Она указала на золотые часы, украшенные ангелочками, уютно расположившимися по обе стороны от циферблата; часы отбивали время необыкновенно деликатно и сдержанно, нежным, робким перезвоном, словно осознавая, что тон здесь задает благопристойный бой настенных часов.

– Что с ними не так?

– Они очень красивые. Откуда ты знаешь, что сюда никто не войдет?

– Ну что ты за зануда. Почему ты спрашиваешь?

– Мы могли бы подняться наверх.

– Зачем? – Он снова посмотрел на нее. – Только не говори мне, что хочешь поиграть в электропоезд.

– Скажешь тоже! – Лиза рухнула в кресло и надула губки. – Откуда ты знаешь, вдруг здесь появится твоя мама и?..

– Это исключено, – оборвал ее Марсел. – И что ты так беспокоишься?

Лиза встала и сняла кофту. Теперь она осталась в одной шерстяной футболке фирмы «Штадлер», из тех, что ее родители покупали в Цюрихе.

– Потому что здесь очень жарко, особенно рядом с камином.

– Тогда я тоже разденусь. – Марсел снял свитер и рубашку. Теперь он тоже был в одной шерстяной футболке, только фирмы «Ла-Пастора» из Матаро.

– А если вдруг придет твоя мама и увидит, как нам жарко...

Он нервно рассмеялся:

– Она в Мадриде.

– Она красивая.

– Кто?

Лиза показала на висевший над камином портрет. Элизенда, очень элегантная, совсем молодая, но столь же элегантная, как и теперь, с книгой в руке, глядящая прямо перед собой, глядящая на нее, Лизу, своими искрящимися, до краев наполненными жизнью глазами, казалось, обращается к ней, говорит Лиза, девочка, что, хочешь соблазнить моего сына? но ведь ты ему и в подметки не годишься.

– Она ведь такая святоша, что неизвестно, что ей придет в голову, если она нас застанет в таком виде.

Тебе-то уж точно не поздоровится, подумал Марсел. Похоже, ты вовсе не против, чтобы нас застали в таком виде, маленькая шлюшка, подумал он. И галантно поцеловал ей руку. Она вытянула ноги поближе к огню и постаралась продлить сей приятный момент, поскольку ей нравилось, когда ей целуют руки. Но вечных поцелуев не бывает.

– Почему ты так хорошо катаешься на лыжах?

– Ну, я давно катаюсь, не знаю, стараюсь почаще приезжать сюда...

– Так ведь я тоже уже давно... – Она пристально посмотрела ему в глаза. – Но ты...

– Для меня снег – это форма существования. Горы, заснеженные деревья, тишина, я скользя на лыжах, а ветер дует мне в лицо... И все остальные люди – где-то вдали, маленькие точки, которые не говорят, не кричат, не мешают... Для меня это способ понять жизнь. – Он положил рубашку на кресло. – На высоте две тысячи сто метров я – бог.

Лиза смотрела на него с открытым ртом, изумленная столь необычным заявлением. Марсел же остался весьма доволен тем, как ловко у него получается охмурять Лизу Монельс. Внезапно девушка встrepенулась и неуловимым движением скинула лыжные брюки. Обнажились белые, гладкие, точеные, идеальные ноги с ямочками на коленях – предвестники счастья.

– Какой жар идет от этого огня!

– Хочешь виски?

– Нет. Не сейчас.

Что означало «после», если только мы доберемся до этого чертового «после», потому что, что бы там ни говорила Монтсе, но ты самый нерасторопный парень из всех, с кем мне приходилось иметь дело.

Лиза игриво расстегнула ремень Марсела и, проказливо хихикая, разом стащила с него брюки.

– Ну, давай же! – смеялась она. – А то от такой жары у тебя удар случится.

Волосатые, смуглые, сильные, мускулистые ноги атлета Марсела Вилабру. В точности такие, какими их описывала Монтсе Байо.

Их ноги переплелись, и Лиза прокомментировала разницу в цвете кожи, ты прямо как негр, Марсел. Он погладил ее по нежной ляжке, и она подумала ну же, пора, черт тебя побери, Марсел Вилабру, давай! И чтобы подбодрить его, спросила а друзья у тебя здесь, в деревне, есть, а он в ответ только скорчил физиономию, словно говоря ты совсем уже, что ли... у меня здесь, в деревне...

– Но ты же говоришь, что приезжаешь сюда каждые выходные...

– Да здешние так воняют навозом...

– Кто бы говорил! – Лиза грудью встала на защиту деревни Торена. И добавила с укором: – Ты же сам отсюда.

– Я родился в Барселоне. – Он схватил ее за левое колено, в том месте, где была соблазнительная ямочка. Чудо что за ямочка. – Я приезжаю, только чтобы покататься на лыжах и повидаться с матерью, – сказал он как бы в оправдание. И чтобы затеряться в горах.

Утверждение Марсела Вилабру было не совсем точным. Да, он действительно не общался с местными жителями, за исключением, пожалуй, Шави Буреса, который учился на агронома в Индустриальной школе. И правда, что при первой же возможности, когда появлялся хоть небольшой перерыв в занятиях, он приезжал в Торену и, чтобы освободиться от излишков энергии, отправлялся на Тука-Негру один или с Кике, если у того не было занятий. Так что с Кике он общался довольно тесно, настолько тесно, что два года назад, когда Марсел поступил в университет, они вдвоем отметили его поступление тайным спуском с Монторройо; вписываясь в неведомые прежде крутые виражи, он подумал, что здесь они запросто могут разбиться в лепешку, но очень уж ему хотелось выглядеть отважнее Кике, который, казалось, бросал ему вызов. Потом, уже вечером, когда они вернулись в клуб, исполненные ликования по случаю удачно закончившейся авантюры, окованные, но потные от возбуждения, оба залезли под горячий душ и долго стояли под водой, пока Кике не начал насмехаться над ним глянька, а писулька-то у тебя крохотная, как фасолинка, и они принялись баловаться под струей воды, и писульки перестали быть фасолинками, и Кике сделал ему первый минет из трехсот двадцати двух, которые потом случатся в его жизни, и это было так необычно, что потом он целых две долгие недели не приезжал домой, без конца спрашивая себя что же получается, я теперь педик, потому как мне очень понравилось, и при этом горько рыдал, поскольку совсем не хотел быть педиком; и вот тогда-то он и взял себе за правило волочиться за всеми подряд девушками, которые попадались ему на пути, дабы доказать всем, что он никакой не голубой, чем заслужил на факультете славу ловеласа. Но самое удивительное заключалось в том, что мне самому тоже понравилось это делать, а Кике так сладострастно сопел, когда я... Короче, они больше никогда не возвращались к этой теме, но с тех пор Марсел старался не принимать душ в помещении для инструкторов, от греха подальше...

Он продолжал гладить правую коленку Лизы Монельс и, желая избавиться от воспоминания о сопении Кике, резким движением стянул с девушки футболку «Штадлер»; она так же стремительно избавила от футболки его, и он стал нервно, сгорая от желания, пытаться растегнуть крючки ее лифчика. Лиза Монельс подумала надо же, прекрасный лыжник, самый завидный парень на всем третьем курсе, хоть и с хвостом по гражданскому праву за первый курс и по уголовному – за второй, хоть и дистанцируется от всех политически активных сокурсников, которые занимаются организацией студенческого профсоюза, хоть и смотрит на них с некоторой насмешкой, словно говоря ребята овчинка выделки не стоит и намекая послушай, уж я-то во все это влезать не собираюсь, лыжи и политика – вещи несовместимые; щедрый друг, поскольку в любой момент, не задумываясь, может пригласить выпить кофе с молоком или виски, а еще говорят, набит деньгами, и любовных дел большой мастер, и красавчик, и руки у него необыкновенные, и глаза такие, что дух захватывает... и при этом не может своими прекрасными руками растегнуть крючки, и если дело так дальше пойдет, то мы провозимся до скончания века... И тогда Лиза остановила его руку, выверенным молниеносным движением растегнула крючки, сняла лифчик и обнажила две свои драгоценности, которые уже давно мечтала продемонстрировать Марселу Вилабру, дабы увидеть, как изменится выражение его глаз, ибо взгляд этих глаз вызывал у нее совершенно необычные ощущения. К тому же она уже почти выиграла пари у Монтсе Байо: от победы ее отделял всего шаг. И тут зазвонил телефон.

– Да, мама.

Ну какого черта в этом доме всего один телефон, как в эпоху неолита, возмутился Марсел. В одних носках, с возбужденным членом, он вскочил с дивана, чтобы ответить на звонок, и теперь Лиза, возлежавшая в одних шелковых кружевных трусиках, слушала, как он говорит да, мама, да, мама. Разумеется, я один, я как раз шел ложиться, ведь завтра я хочу несколько раз спуститься с Тука-Негры. Да, с Пере Сансом и Кике, да. Лиза встала и принялась извиваться всем телом, медленно снимая трусики и еле сдерживая смех, а он стоял, отвернувшись к стене, умирая от желания посмотреть на нее, но боясь опростоволоситься. Да, должен вернуться в понедельник, скажи Хасинто, чтобы он приехал утром в понедельник, да, потому что в понедельник занятий не будет из-за забастовки, да. Да, конечно, я буду очень осторожен, но разве ты не помнишь, что я знаю Тука-Негру как свои пять пальцев? Ах да, Кике сказал, что на высоте тысяча триста метров в сторону Батльиу можно соорудить отличную черную трассу, если провести туда подъемник и убрать четыре валуна. Да, мама. Он повесил трубку, по-прежнему стоя лицом к стене и проклиная свою вредную мать, которая звонила из Мадрида только затем, чтобы проконтролировать его и опозорить перед девушкой, ведь Марсел знал, что она не поверила ни в какую забастовку и наверняка устроит ему скандал вечером в понедельник, если изволит остановиться в Барселоне перед возвращением в дом Грават, и еще Марсел был уверен: его мать знала, что он не врал, когда уверял, что ложится в постель.

– Да, мама.

Он обернулся, уязвленный насмешливым тоном Лизы. Девушка сняла трусики и вертела их на пальце. Какая же она красивая, эта Лиза. Он набросился на нее, и они стали кататься по полу, но потом, под предлогом того, что на полу очень неудобно, что на такой твердой поверхности невозможно расслабиться, они, как и предполагалось с самого начала, отправились в постель. Но вовсе не оттого, что пол был слишком твердым, а потому, что магический взгляд молодой стройной Элизенды с картины над камином делал его беззащитным. Они выбрали величественное ложе его матери, расположенное в одной из спален, теплой и уютной благодаря хорошо работающему центральному отоплению, со стенами, увешанными призраками десяти поколений рода Вилабру, среди которых, к счастью, не было внушающих тревогу портретов, напоминающих, что его мать переживает приступ благочестия и ездит повсюду с епископами и священниками, терзая всех вокруг своей одержимостью святыми и блаженными, и если бы она увидела меня здесь в объятиях Лизы Монельс, она прочла бы целую проповедь о грехе, раскаянии и необходимости вступить на путь истинный. Ну а если бы меня увидел отец Аугуст, то он тут же преставился бы.

12

Третий мужчина сделал знак левой рукой. Он знал, что его товарищи смогут его разглядеть, только если он будет стоять на фоне снега, поэтому расположился в центре заснеженного луга. Однако он также знал, что если его увидят товарищи, то разглядят и враги, если вдруг появятся здесь. Эта мысль посетила его ровно в тот момент, когда пуля разворотила ему поллица. Он даже не успел опустить левую руку. Шестого декабря тысяча девятьсот сорок третьего года белоснежную гладь рождественского пейзажа обагрила лужа темной крови первого маки, павшего в борьбе с фашизмом в долине Изил. Его товарищи, вместо того чтобы произвести аминь, пробормотали проклятие, поскольку, в соответствии с заверениями полковника Нервала, на этом участке, до юга Изаварре, не должно было находиться никаких наблюдательных постов противника. Второй мужчина сделал знак лейтенанту и исчез в темноте; лейтенант Марко понял, что должен выяснить, кто препятствует их продвижению. Он взглянул на своих людей, человек тридцать небритых добровольцев, в чьих взглядах светилась решимость и полное отсутствие сострадания к себе. На какое-то мгновение его охватила гордость за взвод, которым он командовал; однако это чувство тут же смешалось с липким страхом, и он с горе-

чью вспомнил Пако, чья кровь окрасила в багряный цвет заснеженный луг по другую сторону от дороги; но в это время второй его товарищ прошептал ему на ухо путь свободен, я с ними разобрался, их было всего двое.

И вот три патруля перешли реку, миновали сторожевой пост, которого, по заверениям этого гада Нервала, здесь не было, хотя на самом деле он состоял из двух солдат, теперь уже покойных, двух маузеров, коробки с патронами и судка с морожеными бобами. Два партизана конфисковали оружие, а третий – коробку с патронами, все это совершенно бесшумно и практически машинально, на автомате, и никто даже не подумал бросить сочувственный взгляд на совсем юных солдат с перерезанным горлом, ибо их главной задачей было как можно скорее добраться до того места, где у первого мужчины, должно быть, уже околели ноги от столь долгого ожидания.

– Что это был за выстрел? – заметив их, спросил тот, беспрестанно постукивая ногами по земле, дабы не отморозить их окончательно.

– Там менее чем в ста метрах были солдаты.

– Выстрел был слышен во всей округе. Наверняка сюда уже направлен грузовик. Они, скорее всего, в Борене. Или даже ближе.

– Значит, нужно этим воспользоваться.

– А мост?

– Туда пусть идут три подрывника. Они могут действовать совершенно спокойно, уверяю тебя. – И обращаясь к остальным: – Разворачивайтесь и приготовьте гранаты. – И словно мать, напутствующая ребенка, который, закутавшись по самый нос в теплый шарф и взгромоздив на спину ранец, полный книг и иллюзий, отправляется в школу, лейтенант Марко прошептал своему взводу: – И остерегайтесь перекрестного огня.

Не один, а целых три. Три грузовика, набитые солдатами. Это означало, что на севере от Эстерри тоже стояли войска. А ведь пока они в ожидании темноты прятались в заброшенных крестьянских хижинах, они даже запаха никакого не учуяли. Медленно, но неумолимо грузовики ползли, словно гусеницы, им навстречу, слабо освещая белую ленту дороги; на кабине первой машины был установлен пулемет, обращенный на север, к невидимому врагу, и командир колонны проклинал маки, чтоб им пусто было, дали бы мне волю, я бы их за один день всех уложил.

Лейтенант Марко пропустил первый грузовик, и его бойцы пришли в неистовство, поскольку это означало не обычную засаду, после которой можно незаметно исчезнуть, а бой не на жизнь, а на смерть; краем глаза они следили за своим командиром, блестящие черные глаза которого неотрывно смотрели на дорогу; по ней сейчас двигался второй грузовик и сразу следом за ним – третий; наконец лейтенант подал знак, и пять гранат полетели в кузов третьей машины, а еще парочка – в кабину. Через несколько секунд гранатные взрывы, крики, вспышки огня и проклятия пронзили ночную тишину; грузовик застыл поперек дороги, преградив двум другим путь к отступлению, словно его водитель, с оторванными взрывом гранаты руками, был сообщником маки.

По приказу лейтенанта Марко, затаившийся у обочины пулеметный расчет начал бить по первым двум грузовикам, из которых стали выпрыгивать солдаты, ища спасения на белом снежном пространстве и попадая прямо в лапы смерти, ибо они не учли один из базовых принципов любой засады, состоящий в том, чтобы четко рассчитать все свои маневры, предвидя при этом реакцию противника и вынуждая его совершать определенные действия. И действительно, впечатляющее зрелище: враг шаг за шагом следует по полностью устраивающей нас траектории движения, и мы таким образом выигрываем партию, поскольку это мы передвигаем фигуры на игровой доске и ощущаем себя полубогами, в то время как они, да, они – всего лишь жалкие гусеницы. И вот уже Аурели Камос из Аграмунта, который сражался на Эбро с республиканскими войсками и по возвращении домой был вновь завербован франкистами, с двумя

братьями в изгнании и всего двадцатью тремя годами за плечами, выскакивает из грузовика и бросается навстречу своей трагической судьбе. А взбешенный командир первого грузовика слишком поздно отдает себе отчет в том, что его пулемет совершенно бесполезен, потому что если он начнет стрелять, то попадет прямехонько в своих же солдат, и, проклиная партизан и матерей, их породивших, тоже пускается бежать по белому снегу навстречу смерти в полном соответствии с тем, что описано в простейших пособиях по организации засады.

Двадцать три погибших, пятьдесят два бегущих по снегу, перепрыгивающих через овраги, преодолевающих студёные воды Ногеры, покрытых позором солдат, восемьдесят ружей, два пулемета, три больших ящика с патронами, радиопередатчик, пять гранат, замызганный кровью швейцарский нож, а в придачу гордость франкистской армии составили трофеи взвода маки и добровольцев, присоединившихся к освободительной армии борцов против фашизма. И еще двадцать пар конфискованных сапог. Четверть часа выстрелов, криков и полного смятения под ледяным взглядом лейтенанта с черными как уголь глазами, десять минут на то, чтобы подобрать трофеи, и целая жизнь на то, чтобы исчезнуть и затаиться в заброшенных крестьянских хижинах Ризе, а потом, надев снегоступы, отправиться еще выше, вверх по склону, к пику Пилас, и наконец в полном изнеможении уже в коварном свете дня добраться до французской границы в районе Монтроч. Однако не все смогли с чувством выполненного долга уйти в горы. Лейтенант со своим взводом укрылись в пещере, чтобы проследить за реакцией противника.

Генерал Сагардия. Сам генерал Антонио Сагардия Рамос, бывший командующий Шестидесятой второй дивизией армейского корпуса Наварры, тот самый, что по праву заслужил звание мясника Пальярса, пребывавший в это самое время с неофициальным визитом в том самом регионе, который помог ему обрести кровавую славу, обозрел выставку искалеченных тел, недовольно поцокал языком и заявил отдававшему ему честь подполковнику, что проявивший некомпетентность командир, который в данный момент лежит перед ним бездыханный, с пустой глазницей, но со звездой на фуражке, полностью виновен в том, что попал в самую банальную партизанскую засаду. А меня теперь вполне могут отправить в запас.

Результат был в точности таким, как и предполагали маки: противник удвоил боевой состав в долине за счет его сокращения в других местах. Когда проводившие военную инспекцию офицеры с трупами и несколькими уцелевшими солдатами возвращались в место дислокации войск и грузовик, транспортировавший воинский персонал, въехал на мост Арреу, лейтенант с угольными глазами произнес пора! Один из его бойцов выпустил сигнальную ракету, и через двадцать секунд мост, два джипа и грузовик весело взлетели на воздух. Лейтенант Марко знал, что с этого момента жизнь отрядов маки, действовавших между Изилом и Кольегатсом, очень осложнится, среди прочих причин еще и потому, что путь через обледеневший перевал Салау теперь им заказан и придется искать долгие, хотя и более надежные обходные пути через Эспот, Эстаньетс и Монтсент.

- Не мужицкое это дело – картинки рисовать.
- Для меня это развлечение. Ведь работа в школе – сплошная рутина.
- Так что? Она тебя клеила?
- Простите?
- Я говорю, сеньора Элизенда намекала тебе на секс?

Намекала ли сеньора Элизенда на секс... Последний сеанс проходил так, как происходит в жизни все, что приносит боль; оттенив тон складок одежды, полюбовавшись живыми глазами, незаметно проявившимися на полотне, и убедившись в том, что портрет излучает свет и тепло, он вздохнул и принялся вытирать тряпкой кисти, не отрывая взгляда от изображенных на картине лучистых глаз и думая, что сделал все, что мог. Элизенда, я закончил. Элизенда тут же встала, подошла к мольберту и долго смотрела на портрет; и все это время перед ним

сияли созданные его кистью бездонные, проникающие в самую душу глаза, а за спиной благоухал аромат ее духов, увлекавший куда-то в неведомую даль. Потом нежные изящные руки, источающие запах нарда, начали аплодировать ему.

– Это истинное произведение искусства, – взволнованно произнесла она.

– Не знаю, – осторожно сказал Ориол. – Но я вложил в этот портрет всю душу.

Почти теряя сознание от восхитительного дурмана, Ориол почувствовал, как его позвончик пронзил сильнейший удар током: Элизенда положила руку ему на плечо и не спешила ее убирать. Потом, без всякого предупреждения, наклонилась, обнажив пленительную ложбинку между грудями, и молча поцеловала его в лоб.

– Я тебе очень благодарна, – тихо произнесла она. – Портрет великолепен. Тебе следовало бы серьезно заняться живописью.

Намекала ли сеньора Элизенда на секс? Бог мой! Сеньора Элизенда ни на что мне не намекала, но я только и думаю что о ее глазах, а Роза с каждым днем все более резка со мной, поскольку наверняка о чем-то догадывается; уж не знаю, что за антенны такие у женщин, что они все это улавливают. Бог мой. Возможно, я совершил ошибку, приняв этот заказ, возможно, мне следовало ограничиться школой и вбивать в головы Элвиры Льюис, Селии Вентуреты и Жаумета Серральяка, самых старших из тех, кому не пришлось бросить школу, чтобы по настоянию родителей заняться сенокосом, что Испания – подлежащее в этом предложении, а подлежащее никогда не употребляется с предлогом, ты это понимаешь, Жауме, ты понял? Если мы говорим Испания растет и крепнет благодаря любви к каудильо, благодаря любви – это не подлежащее.

– Но ведь это самое важное слово, – робко кашлянула Элвира Льюис.

– А что значит «Испания растет и крепнет благодаря любви к каудильо», сеньор учитель?

– Ну, это просто пример из книги. Давайте приведем другой: пшеница растет благодаря любви к воде.

– Ага, так понятнее. И подлежащим будет пшеница, верно?

– Сеньора Элизенда не намекала мне ни на секс, ни на что другое. Ведь она настоящая сеньора.

– Ну, ты ее еще узнаешь. Кстати, она тебе заплатила?

– И весьма щедро. А что вы имеете в виду, говоря, что я ее еще узнаю?

Ориол поскреб ложечкой по дну пустой чашки и положил ее на блюдце. Ему хотелось поскорее вернуться домой, но в то же время он боялся встретить исполненный немого упрека взгляд Розы, которая даже не улыбнулась, когда он вручил ей деньги, полученные за картину.

– Напоминаю вам, что Элизенда – дама замужняя.

– Да, она замужем за проходимцем, который проводит все дни напролет... Впрочем, не важно.

Ориол встал, и Валенти удивило, что он поднялся первым. Это ему совсем не понравилось. Он молча, сухим жестом велел учителю снова сесть. Потом, перегнувшись через стол и обдав лицо собеседника своим кислым дыханием, он процедил сквозь зубы а вот я трахал твою сеньору Элизенду. И уверяю тебя, в ней нет ничего особенного.

Возмущенный Ориол собирался ответить ему да что вы себе позволяете, когда в кафе вошел один из людей сеньора алькальда, парень с кудрявыми волосами, который проследовал прямо к столу и возбужденно прошептал Валенти Тарге на ухо что-то, что Ориол не разобрал. Тот вскочил, словно подброшенный пружиной, и сделал привычный сухой жест, который на этот раз означал «следуй за мной». Ориол попытался было возразить, что ему надо домой, что Роза...

– Брось все и следуй за мной, – наставническим тоном, словно Иисус Христос своей пастве, заявил ему алькальд. – И оденься как следует.

Мужчина с широкими густыми бровями остановил машину рядом с кладбищем Сорта, напротив сторожки, где помещалось гробов двадцать. Из автомобиля вышли три фалангиста в униформе и Ориол, который машинально последовал за группой. Стоявшие в карауле солдаты отдали им честь и освободили проход. В углу сторожки лежало тело в непонятной военной форме, у которого один глаз был широко распахнут, словно молил о несбыточной победе, а другой глаз и вся половина лица представляли собой бесформенную кровавую массу. Валенти Тарга носком ноги перевернул труп на спину. Содрогнувшегося от ужаса Ориола, который всеми силами старался не смотреть в это лицо смерти, вывернуло наизнанку. Валенти пристально взглянул на него, но сдержался и ничего не сказал; потом присел перед телом маки.

– Обратите внимание на это, – сказал он, не оборачиваясь.

Ориол подошел к алькальду, держа у рта носовой платок, бледный, с плохо повинующимися ногами. Остальные встали вокруг. Валенти потянул за отворот куртки покойника. В петлице у нее был какой-то металлический значок. Алькальд вытащил его и продемонстрировал всем. Это был колокольчик красного цвета. Ориол молча смотрел на него, не зная, что это означает.

– Этот маки из банды Марко, – объявил Тарга. – Они все носят эти колокольчики, в насмешку над нами. А командует ими Элиот.

– Кто такой Элиот? – спросил парень с тонкими усиками.

– Англичанин, который знает здешние места как свои пять пальцев; и, похоже, ему нравится играть с нами в эти игры. С нашей армией. – И с явной завистью: – Он очень ловкий и умелый.

Ориол вновь посмотрел на уложенных в ряд мертвых солдат и ощутил мертвую пустоту в душе. Сеньор Валенти Тарга, словно поучая их, добавил, что Элиот и Марко, конечно, очень ловкие ребята, но он-то знает, где у них слабые места. Если бы армия прислушалась ко мне...

Он положил значок с колокольчиком в карман, указал на мертвых солдат и сказал они еще узнают, почем фунт лиха. Пока это только цветочки...

Остальные молча переглянулись, не слишком хорошо понимая, что он хочет этим сказать. А Ориол подумал, что если алькальд и его фалангисты считают цветочками казнь двух жителей деревни за то, что они якобы имели отношение к смерти отца и сына Вилабру, и убийство еще нескольких по обвинению в симпатии к республиканцам и анархистам, то какие же формы может принять развязанный террор в дальнейшем?

13

Тина рассеянной улыбкой поблагодарила Жоану за кофе. Потом посмотрела в окно. Хотя прошло совсем немного времени с тех пор, как ушли дети, на улице уже начинало темнеть. Встав на стул, Майте с помощью кнопок прикрепляла листы бумаги к огромной пробковой доске, которую они повесили в вестибюле, чтобы разместить там сведения о выставке и ее структуре. Тина наблюдала за ней, аккуратно дуя на кофе. Конечно, это могла быть Майте. Я даже почти уверена, что это она. Но что Жорди в ней нашел? Почему они начали встречаться?.. Возможно, потому, что она образованнее и успешнее меня. Да, Майте образованнее меня. Неужели его привлекло в ней именно это? К тому же она не толстеет, как я.

– Передай мне этот листок. Да, с фотографией.

Бедная Майте, подумала Тина, протягивая ей листок с фотографией. Но надо сосредоточиться на работе, потому что в противном случае они никогда не закончат, и Тина сказала думаю, один из разделов следовало бы посвятить Гражданской войне. Майте посмотрела на нее сверху вниз. Рикард Термес и Жоана, которые что-то вырезали из газет, прервали свою работу и тоже посмотрели на нее. Она осознала, что оказалась в центре всеобщего внимания, что ей совсем не нравилось.

– Но мы ничего не знаем о Гражданской войне, – осторожно произнес Рикард Термес.

– Ты представляешь себе, сколько это потребует дополнительной работы? – заявила Майте, она ведь такая предусмотрительная.

– Не уверен, что стоит за это браться, – заключил Рикард.

– Я сама всем займусь, не беспокойтесь. Судя по всему, движение маки в этих местах было очень активным как во время войны, так и позднее.

– Ну, если ты возьмешь все на себя... – И как бы в оправдание: – Просто, если все это еще затянется, моя жена подаст на развод.

Жоана, не говоря ни слова, прошла в канцелярию, в то время как остальные продолжали рассуждать о том, стоит ли делать специальный раздел, посвященный местным школам в период Гражданской войны; Рикард сказал насколько я понимаю, здесь во время войны все учебные заведения продолжали функционировать, поскольку особой заварушки тут не было, и Майте подтвердила это. В это время Жоана вернулась из канцелярии, держа в руках папку, набитую бумагами, которые выпирали со всех сторон. Она открыла ее. Там были старые экземпляры местного вестника. Жоана протянула Тине лежавший сверху номер.

– Посмотри, это имеет отношение к теме, – сказала она, указывая на статью под названием «Новый мученик за Бога и Отечество» и на плохо сохранившуюся фотографию, на которой две маленькие фигуры, облаченные в фалангистскую униформу, смотрели в объектив. Один из запечатленных на фото держал руку на плече другого, и оба, казалось, были вполне довольны жизнью. Тина не смогла определить, является ли одна из фигур Ориолом Фонтельесом, поскольку черт лиц было не разглядеть, а единственным доступным ей изображением Ориола был автопортрет, который он написал, глядя в зеркало школьного туалета.

Тина начала читать статью, одновременно прислушиваясь к беседе своих коллег; Майте спросила что, это такое, и Жоана ответила это статья об учителе из Торены. Рикард заметил а, это тот, который уколошил маки, я о нем слышал. Жоана сказала, обращаясь к Майте, говорят, он был одним из главных фашистов в округе и при этом школьным учителем, представляешь? Тогда Рикард нахмурил брови и заявил это заметно осложнит нам существование; если мы откроем еще один фронт, мы не успеем вовремя закончить подготовку к выставке, на что Майте успокаивающе ответила ладно-ладно, обсудим это позднее, нечего пугаться раньше времени. Тина между тем продолжала читать написанную высокопарным, витиеватым, официозным и вычурным слогом статью, согласно которой восемнадцатого октября тысяча девятьсот сорок четвертого года, в День святого евангелиста Луки, заведомо зная, что атака в такой день будет наиболее чувствительной, многочисленная и хорошо вооруженная банда маки напала на три деревни округа (Торену, Сорре и Алтрон) с намерением завладеть данной территорией и уже оттуда беспрепятственно нанести удары орудиями тяжелой артиллерии по долине Ногеры и столице провинции, отвлекая таким образом силы национальных войск и т. д. и т. п. Она по диагонали пробежала глазами несколько абзацев. Ага, вот здесь:...мужественные действия учителя из Торены Ориола Фонтельеса Грау, который один, вооруженный лишь пистолетом малого калибра, противостоял красному отребью, намеревавшемуся захватить церковь и совершить осквернение христианской святыни. Ориол Фонтельес, новоявленный христианский мученик, забаррикадировавшись в храме, на протяжении двух часов, даже оставшись без патронов, самоотверженно отражал атаки бандитов. По мере того как открываются новые обстоятельства, становится ясно, что, умирая, наш герой успел сообщить своему другу, алькальду Торены товарищу Валенти Тарге, который держал героя на руках, дабы тот мог спокойно отойти в мир иной, что до самого конца оказывал красным сопротивление, дабы дать регулярным силам возможность войти в Торену и не позволить бандитам занять привилегированную позицию. По его словам, он знал, что отдает свою жизнь, чтобы спасти жизни многих других, а посему перед смертью возрадовался своей участи. Так сей святой воитель, усердный педагог в самом расцвете жизни вручил свою душу Господину Воинства небесного

и земного. Да упокоится в мире душа нашего героя-мученика, фалангиста Ориола Фонтельеса Грау (1915–1944). Ничего себе!

– Могу я это взять? – спросила Тина у Жоаны, имея в виду папку, набитую номерами местного вестника.

– По мне, так да... – Жоана взглянула на Майте, которая тоже не высказала никаких возражений.

– Просто... Не знаю... Меня интересует эта тема, возможно, мне это пригодится для книги, хотя, может быть, в конечном итоге я даже не упомяну об этих документах.

– Но что касается выставки, – вновь забеспокоился Рикард, – давайте обойдемся без войны, ладно? Потому что это очень все усложнит.

Все решили, что действительно тему войны можно без всяких проблем оставить в стороне.

Тина закрыла папку, щелкнув резинками, и подошла к Жоане; поблагодарила ее и добавила мне очень пригодится этот материал; Жоана посмотрела ей в глаза и спросила почему ты такая грустная, Тина. Тина застыла с открытым ртом и несколько секунд пребывала в замешательстве, не зная, как отреагировать на эти слова. Потом сглотнула слюну и сказала потому что... потому что Арнау решил стать монахом.

14

Роза поставила овощи на огонь. Сквозь крохотное оконце, теперь украшенное новыми занавесками в бело-зеленую клеточку, она увидела, как мимо дома прошли трое или четверо, мужчины в темных одеждах, чьи силуэты почти растворялись в бледном свете фонарей. За ними медленно и нерешительно следовал Ориол. Ей показалось, что он бросил какой-то жалобный взгляд на окно, а также что за угрожающе продвигавшимися по Средней улице фалангистами он идет с явной неохотой. Роза вздохнула, села на стул и поставила перед собой корзину с картофельными очистками; в это мгновение она почувствовала первый удар крохотной ножки и от всего сердца пожелала, чтобы это оказалась девочка.

Ориол пропустил вперед троих мужчин в форме, которые быстро зашагали рядом со своим шефом. Они шли по узкой промерзшей улочке, но, несмотря на холод, Ким из дома Нарсис поспешил выскочить к дверям, с радостью в глазах наблюдая за процессией и едва сдерживая желание постучать в дом Бирулес и сказать Фелиу наконец-то хоть кто-то здесь наведет порядок. Вместо этого он ограничился тем, что весьма учтиво поприветствовал нового учителя, однако ответа не получил, поскольку Ориол был явно чем-то удручен. Валенти подошел к дому Вентура и нетерпеливо постучал в оконное стекло. А потом случилось то, что случилось, и Ориол наблюдал все происходящее, стоя у порога входной двери: где этот сукин сын твой отец, оставьте мальчика в покое, он ничего не знает, и пронзительный взгляд матери, буквально пробуравивший его глаза, когда она спросила так вы знаете, где находится Франция? Пусть учитель вам объяснит, и тут удар Валенти свалил ее с ног. Больше Ориол ничего не видел, потому что выскочил на улицу. А когда вернулся домой, бледный, с темными кругами под глазами, Роза, бледная, с темными кругами под глазами, заходящаяся в приступах кашля, даже не спросила его, что произошло, и он тоже ничего не сказал, только сел на стул и устремил взгляд в пустоту, и в этот момент она начала испытывать презрение к своему мужу. Потом, так и не поужинав и не произнеся ни слова, Роза пошла спать, как, по всей видимости, сделали в то же самое время и обитатели дома Вентуры. Ориолу пришлось снимать с огня кастрюлю с овощами. И тут постучали в дверь, и на какое-то мгновение Ориол представил себе, что это Элизенда Вилабру, которая решила сказать ему, что все было неправдой. Но нет. Это был фалангист с тонкими усиками.

Младшего Вентуру звали Жоан Эспландиу Карманиу, ему было четырнадцать лет, и от страха глаза у него вылезали из орбит. Его заставили сесть на стул, не привязав к спинке и не стянув руки, и Валенти с любезной улыбкой дал ему стакан воды, которую парень жадно выпил; потом он протянул ему папиросу, но мальчик отказался, и Валенти сказал да ладно, малец, ведь наверняка тайком покуриваешь, и Вентурета ответил да, сеньор, иногда, но потом меня немного тошнит, и Валенти сказал как хочешь и убрал папиросу. Ну а теперь, когда мы подружились, ты можешь сказать все, что знаешь об отце, и мальчик: но я ничего не знаю, мама правду сказала.

– Ну ладно, начнем сначала. Твой отец во Франции?

– Думаю, да.

– А где именно?

– Не знаю. Ведь мама с папой разошлись, она ничего о нем не знает и знать не хочет.

– А как же люди видели, что на рассвете он заходил во двор?

– Но мы даже не знаем, жив ли он, сеньор!

– Зато я знаю. Он жив, и теперь он убийца. И я желаю знать, когда он тайком приходит домой, чтобы повидать вас.

– Но я же сказал, что... – Мальчик не осмеливался поднять глаза на Валенти. – Когда они разошлись, он ушел с республиканской армией, и больше мы о нем ничего не слышали, сеньор.

– Не называй меня «сеньор», называй меня «товарищ».

– Да, товарищ.

– Как часто он к вам приходит?

– Он не приходит, товарищ. Клянусь.

– Не клянись понапрасну.

– Но я клянусь, это чистая правда.

– Учитель здесь, – просунул голову в дверь один из людей в форме, тот, у которого были тонкие усики.

– Пусть войдет.

Ориола провели в кабинет алькальда, и он посмотрел мальчику в глаза. Тот презрительно отвел взгляд и уставился в стену под портретом Франко в победоносной военной форме

– Что вы с ним сделали?

– Мы его пальцем не тронули. – Алькальд схватил Ориола за руку и вывел из кабинета, говоря так, чтобы услышал мальчик, что если отец парня не сдастся, то очень жаль, но придется тронуть его не только пальцем. Потом, уже в полумраке коридора, перед дверью кабинета, крепко держа Ориола за предплечье, Валенти, вкрадчиво, но при этом гневно сверкая глазами, произнес своим утробным голосом почти на ухо учителю чтобы это было в последний раз, не смей обсуждать мои действия на людях.

– Но я только спросил...

– Здесь распоряжаюсь я.

– Но это мальчик. Он же совсем ребенок.

– Ты должен составить протокол допроса.

– Я?

– Баланзо с компанией и за несколько дней не справятся.

– Но что это такое? Суд? Почему бы тогда не поставить в известность власти Сорта?

– Если тебе придет в голову еще что-то подобное, – прошипел алькальд, выходя из себя, – я с тебя шкуру живьем сдеру.

Он все еще сжимал Ориолу предплечье и был явно вне себя от ярости. Потом немного успокоился и ткнул указательным пальцем себе в грудь:

– Я отвечаю за общественный порядок в муниципальном округе. И хочу, чтобы ты вел протокол, потому что дела надо делать как полагается.

– Но мальчик не мог совершить никакого преступления.
– Разве я тебе даю указания, как надо обучать таблице умножения? Если ее все еще проходят в школе...

Когда Валенти возобновил допрос, Ориол Фонтельес, учитель, превратившийся в секретаря суда, сидел с карандашом и бумагой в углу и старался не смотреть на мальчика. Валенти уселся напротив Вентуреты и по-дружески похлопал его по плечу, говоря так на чем мы остановились, ах да, ты собирался сообщить мне о местопребывании твоего отца. Так где он?

– Да я же не знаю, товарищ.
– Не называй меня товарищем! Ты этого не заслужил.
– Я не знаю, где он, сеньор.
– Отлично. Подождем. – Он пододвинулся поближе к мальчику, глядя на него в упор. – Твой отец трус и поэтому не осмелится явиться ко мне, а значит, у нас не останется иного выхода, как убить тебя. Жаль.

Ориол резко поднял голову. И неожиданно наткнулся на устремленный на него ледяной взгляд Валенти, словно тот сказал это лишь для того, чтобы заставить учителя прореагировать.

– Но ведь отцу неизвестно, что я... – пролепетал Вентурета.
– Еще как известно. Не знаю уж, как это получается, но новости разлетаются словно по воздуху. – Он взял табакерку и принялся сворачивать папиросу. – И если он не идет, то только из-за своей трусости.

Он замер с наполовину скрученной папиросой в руках и ткнул пальцем в мальчика:

– Тебе знакомо имя Элиот?
– Нет.

Ориол опустил голову и продолжил вести протокол. Неожиданно он услышал дрожащий голос ребенка:

– Можно мне закурить, сеньор?
– Нет. Раньше надо было соглашаться. – Алькальд пристально взглянул на мальчика, и тот застыл, не осмеливаясь пошевелиться. – Мы с тобой больше не друзья. У меня нет другого выхода, как причинить тебе боль, чтобы ты рассказал все, что знаешь.

Жоан Эспландиу из дома Вентура, Вентурета, издал первый за эту ночь стон, ибо больше не в силах был сдерживать переполнявший его страх.

– Нечего нюни тут распускать, – сказал Валенти, зажигая папиросу. И, выплюнув крошку табака, добавил: – Во всем виноват твой ублюдок-папаша.

Мальчик горестно всхлипнул, и Валенти взглянул на него с презрением:

– Я видел, как умирают мальчишки еще меньше тебя с оружием в руках и с радостью в сердце. – И, придвинувшись вплотную к ребенку, добавил тихим голосом: – А ты распускаешь нюни, как девчонка... – Он выпустил дым парню в лицо и почти шепотом спросил: – Так где твой отец?

– Сеньор учитель... – пробормотал мальчик. – Скажите ему, что я...
– Сеньор учитель здесь всего лишь секретарь. И ты не имеешь права говорить с ним.

Он встал, подошел к Ориолу, который что-то печатал на машинке, и жестом велел ему показать протокольные записи. Просмотрел их по диагонали под пристальным взглядом Вентуреты, который, казалось, надеялся, что записи на этой грубой серой бумаге повлекут за собой его помилование: это была ошибка, от имени самого каудильо приносим наши извинения. Вдруг алькальд сделал недовольное лицо. Потом задумчиво постучал пальцем по тому месту, которое вызвало у него недовольство. Закончив чтение, он положил бумаги перед пишущей машинкой:

– Неверно. Пиши.

Заложив руки за спину, он начал прохаживаться из угла в угол, диктуя: получив приглашение явиться в мэрию, нижеподписавшийся Жоан Эспландиу из дома Вентура, равно как и его семья, выразили безоговорочное согласие принять его. Ввиду отсутствия специального помещения для проведения собеседования он был принят в моем кабинете, где ему был предложен стакан воды. Поскольку в процессе собеседования не удалось пролить свет на дело, послужившее причиной приглашения в государственный орган, вышеупомянутому предложено провести ночь в здании мэрии, что было им воспринято с пониманием и энтузиазмом. Потом Валенти указал на бумагу и машинку.

– Перепиши начисто, – сказал он, надевая куртку и шарф.

15

Хотя благодаря своему положению, биографии, родословной и характеру Марсел Вилабру относился к тому типу людей, которые заставляют страдать других, разбивают сердца, парализуют волю и завоевывают преданность, даже пальцем при этом не пошевелив и практически не ставя перед собой таких задач, он умудрился совершить ужасную ошибку, влюбившись в самую неподходящую для этого кандидатуру. Ее звали Рамона, она была из семьи ремесленников из района Сантс, ее вдохновляла борьба против власти, которую затеяли студенты Нантера, а посему она полностью приняла идею так называемой студенческой революции и предложила Марселу поехать и разобраться в ситуации на месте. Это был последний год его учебы на юридическом факультете, и одному Господу Богу ведомо, чего стоило ему сдать гражданское и торговое право. Она обучалась философии и находилась, если можно так сказать, где-то между вторым и пятым курсом. Ни тот ни другой не собирался работать по специальности: Рамона – потому что планировала стать писательницей, а Марсел – потому что не планировал вообще ничего.

– Льготный билет, рюкзак, орехи и шоколад.

Марсел не осмелился сказать, что никогда не путешествовал в подобных условиях, потому что эти глаза, этот рот, эта манера «сама не знаю почему, но мне так нравится»... В общем, он сказал договорились, льготный билет, рюкзак, орехи и шоколад. Объявил матери, что едет с Кике взглянуть на лыжные трассы Санкт-Морица, пользуясь мертвым сезоном и отсутствием там лыжников, купил молчание Кике, который тут же известил обо всем Элизенду, за что та щедро его вознаградила, купил два льготных билета на поезд, походный рюкзак, два килограмма различных орешков и тридцать плиток шоколада и отправился со своей возлюбленной на Французский вокзал.

В отсутствие сына сеньоры Элизенды Кике провел две ночи в ее квартире в Барселоне, наслаждаясь расслабленным пребыванием в сем оазисе покоя, так непохожем на тайные и скоротечные свидания в Торене. Условие строго сохранять в секрете их отношения было единственным, что неукоснительно соблюдалось с самого начала сей неожиданной и странной связи, зародившейся одиннадцать лет тому назад, когда он был хорошо сложенным и здоровомыслящим девятнадцатилетним юношей, а она была вдвое его старше. Сейчас Кике было тридцать лет, и он по-прежнему был хорошо сложенным и здоровомыслящим молодым мужчиной, а сеньоре уже стукнуло пятьдесят. Никто ничего не знал об этой связи. Вернее, сеньора Элизенда полагала, что никто ничего не знает, а посему для нее было так важно делать все возможное, чтобы тайна не была раскрыта. Им нравилась эта игра в полную таинственность, поскольку сеньора не могла допустить, чтобы кто-то мог подумать о ней нечто неподобающее. Теперь, когда умерла Бибиана, даже прислуга не должна была догадываться о том, что редкие оргазмы нерегулярной половой жизни сеньора испытывала лишь в условиях полной секретности, когда любовникам приходилось прятаться даже от собственной лжи.

Между тем эскапада в Париж оказалась настоящим праздником. Марсел с Рамоной выходили из комнаты пансиона на улице Гюисард, только чтобы перекусить, немного подышать воздухом и вновь с радостью заточить себя в четырех стенах. Они так и не узнали, где расположен Латинский квартал, но зато издали полюбовались Сеной, некоторыми мостами и силуэтом Эйфелевой башни, а посему с полным правом записали в свой послужной список, что побывали в Париже. На передовой.

На обратном пути, испытывая сомнения и стыд, ужасный стыд, Марсел признался Рамоне, которая выслушала его в полном замешательстве, переросшем в возмущение, что он совсем не тот, кем кажется, и что (нет, не он, что ты, не волнуйся) его семья, можно сказать, принадлежит к сторонникам режима, а также что смуглый цвет его кожи не присущ ему от рождения, а является следствием загара на горнолыжных курортах; что он едет в поезде всего второй раз в своей жизни, а первый был, когда они ехали в Париж, что летом он ездит кататься на лыжах в Аргентину, что он скандально богат и любит ли она его по-прежнему, несмотря на все это.

На станции Перпиньян, когда поезд уже набирал скорость, Рамона с заплаканными глазами, разбитыми на мелкие осколки мечтами и обманутыми надеждами спрыгнула с подножки, а Марсел, не осмелившийся последовать за возлюбленной, поскольку поезд уже мчался во весь опор, как безумный, долго кричал Рамона, Рамона, доставляя большое удовольствие своим незнакомым попутчикам.

В день, когда сеньоре Вилабру, вдове Вилабру, исполнилось пятьдесят три года, два месяца и пять дней, она решила, что ей следует слегка отретушировать свою жизнь, и велела купить ей билет на рейс в аэропорт Фьюмичино. К этому времени она была респектабельной дамой, уважаемой во всех общественных кругах, где респектабельность имела хоть какое-то значение. Она начала свое восхождение такой юной и так разумно использовала свое время, что было непросто понять, обязана ли она своей привлекательностью в глазах сильных мира сего своим природным задаткам или же факту обладания унаследованным от предков огромным состоянием в виде земельных угодий и счетов в банках. Хотя, возможно, причина сего особого отношения крылась в педантичном воспитании, которое она получила в интернате Святой Терезы, где ей внушили, что в соответствии с законом жизни ей суждено стать частью той социальной сферы, в которой она должна сохранять спокойствие и самообладание даже при общении с людьми, лишенными каких бы то ни было принципов этики и морали, а также что единственное, чего в этой сфере не прощают, – это недостаток воспитания. Остальное обеспечили хорошие связи, которые она начала заводить еще в Сан-Себастьяне, ее природные достоинства, женские прелести, а также, при необходимости, жесткость и упорство; все это постепенно превратило ее в незаменимого члена предпринимательского сообщества и своего человека в соответствующих политических кругах, благосклонных к предпринимателям. Пожалуй, самые эффектные шаги ее деятельности заключались в том, что она заложила первое звено – в крайнем случае второе – в лыжный бизнес страны, опередила самых рискованных смельчаков, сделав ставку на производство спортивного инвентаря, поняла, что торговать хорошей маркой гораздо важнее, чем продавать хороший товар, и вложила большие средства (вопреки скептицизму своих советников, в частности Газуля) в дизайнерские разработки собственной марки за несколько десятков лет до того, как это стало обычным делом в предпринимательской среде. Таким образом спортивные товары Вилабру, которые из соображений рекламной лаконичности получили название «Бру», вскоре обрели престиж и признание на рынке. Это были лыжи, лыжные палки и ботинки, снегоступы, лопаты, перчатки, очки, крем из масла какао и спортивные брюки, рекламируемые самим Карлом Шранцем; а также теннисные мячи, ракетки, сетки, стулья для теннисного арбитра, повязки на запястье, тенниски, рубашки, продаваемые при поддержке ослепительных улыбок Химено, Рода Лейвера и Ньюкомба; клюшки для хоккея

на траве и на льду, мячи для волейбола, гандбола и баскетбола, равно как и для футбола (с клапаном) и тапочки марки «Бруспорт», изящные и невесомые. А еще великолепные ракетки для настольного тенниса, которые активно экспортировались в Китай, Швецию и Соединенные Штаты, поскольку отличались легкостью, меткостью и исключительной надежностью. И всего этого она добилась в одиночку, поскольку ни один из предпринимателей из ее окружения не верил в сию новаторскую стратегию. Но ей всегда нравилось плыть против течения, полагаясь лишь на самую обычную интуицию. И все у нее в жизни получалось, и она не сомневалась, что так будет и впредь. Помимо этого, сеньора Вилабру решительно, без оглядки на кого бы то ни было создавала различные общества, которые сама же возглавляла и финансировала, следуя исключительно своему уникальному чутью и советам, всегда робким и консервативным, адвоката Газуля, человека отнюдь не блестящих способностей, но обладавшего одним несомненно выдающимся качеством – отличной информированностью.

Злые языки утверждали, что у Элизенды Вилабру постоянно имеется личный представитель в Совете министров. Злые языки подчас бывали столь же хорошо информированы, как адвокат Газуль. Так или иначе, но весьма часто среди людей, пользующихся благосклонностью генерала Франко, оказывался какой-нибудь адвокат, высокопоставленный чиновник или землевладелец, которого сеньора Элизенда в нужный момент поддержала экономическим вливанием в виде покупки акций. С другой стороны, она, словно трудолюбивый муравей, не прекращала приобретать одно за другим огромные земельные угодья, прежде всего в Пальярсе, где особенно стремилась продемонстрировать свое могущество, но также и в любом другом регионе, где предоставлялась такая возможность. Поговаривали, что ей принадлежит половина Доньяны. При этом она постоянно испытывала чувство вины из-за того, что недостаточно времени уделяет воспитанию сына. Сейчас, когда ей исполнилось пятьдесят три года, два месяца и пять дней, ее сын, благодаря титаническим усилиям, наконец завершал обучение на юридическом факультете, превратившись в законченного бездельника. Сеньора Элизенда чувствовала себя ответственной за такое положение дел, но мало что могла изменить, разве что собирать осколки разбитой посуды, когда налетал ураган, или отчужденным, безапелляционным тоном читать своему отпрыску мораль, которая у смиренно внимавшего ей Марсела влетала в одно ухо и благополучно вылетала из другого.

По той же самой причине, по которой, судя по всему, она желала стать полноправной владелицей всего Пальярса, ей никогда не приходило в голову покинуть дом Грават. Хотя деревня, не то чтобы очень уж бедная, но какая-то жалкая, была явно непрезентабельным местом обитания, сеньора упорно продолжала жить в доме Грават, откуда вела долгие телефонные разговоры с Барселоной и Мадридом, с холодным расчетом занималась куплей-продажей, вела строгий учет всех здоровых бычков, павших коров, тонн полученной после стрижки овец шерсти и всех документов, которые управляющий раскладывал на столе в гостиной, где они каждую неделю проводили совещание, и лишь раз или два в год, приложив к носу надушенный платок, посещала Падрос, имение, в суете которого рождалось все это богатство. Проживание в доме Грават, расширение старых конюшен и превращение их в гаражи, приведение в порядок сграффито на фасаде, водружение в гостиной невиданного прежде в деревне телевизора и редкое появление на выходящем на площадь балконе в облаке пьянящего аромата нарда – все это было ее своеобразным способом расправы с виновными в страшном преступлении, которые не отступили перед ее Гоэлем и продолжали жить на этой земле. Она, не стесняясь, всячески демонстрировала свое вопиющее богатство и устремляла взор за горизонт, словно дома Фелисо давно не существует, словно дом Вентура полностью разрушен, словно члены семейства Гассья из дома Миссерет, которые плодились, как кролики, обычные булыжники, покрывающие площадь; это был ее способ заявить всем, что война не закончилась и не закончится никогда, потому что она умела хранить память об усопших членах своего семейства. Вместе с тем из соображений удобства она привела в порядок огромную квартиру в Педральбесе, где

проводила совсем немного времени, хотя иметь квартиру в Барселоне было очень практично. Дела она вела методично, четко, скрупулезно, будь то в Торене, или Барселоне, или даже в автомобиле, так что Хасинто Мас, неизменный ее шофер, знал едва ли больше всех обо всем, что происходит с сеньорой. И одним из самых верных, потому что она всегда смотрит на меня этими своими необыкновенными глазами, словно говоря очень хорошо, Хасинто, ты все делаешь очень хорошо; я доверяю тебе, вручаю тебе мои секреты, ибо ты, Хасинто, доблестный защитник моей безопасности. Если бы ты знал, как я люблю тебя, Хасинто, говорит ее взгляд; но социальные и классовые барьеры возводят преграды на пути нашей бессмертной любви. К тому же оставался самым верным ей человеком.

В насыщенной религиозной жизни сеньоры Элизенды имелись свои лагуны. Когда убили ее отца и брата и она бежала в Сан-Себастьян, схватив одной рукой Бибиану, а другую держа за спиной, ее религиозный пыл заметно охладел, так что она даже демонстративно перестала посещать церковную службу. Так она наказывала Бога за то, что он оказался не на высоте положения. Однако, когда она вернулась в Торену и случилось то, что случилось, когда, казалось, наконец настало время полного отдохновения, она стала регулярно посещать церковь, к великой радости отца Аурели Баги, который превратился в верного наперсника сеньоры, которому она исповедовалась в неизбежных грехах. С тех пор как она вновь вернулась к общепринятым формам выражения набожности, она не пропустила ни одной воскресной мессы. Всегда садилась на одну и ту же скамью, в первом ряду; в последнем же ряду, возле выхода из церкви, непременно стоял Хасинто Мас со скрещенными на груди руками, строго наблюдая, чтобы все вели себя как положено. Ни разу, ни в одно из воскресений, никому, даже Сесилии Басконес, и в голову не пришло занять ее место. Именно там, в церкви Сант-Пере, Марсел принял первое причастие, хотя ему предлагали сделать это в соборе Сеу-д'Уржелъ и даже в церкви ордена иезуитов в Саррье, которая поддерживала прекрасные отношения со школой Сант-Габриэл. И каждое воскресенье после мессы она непременно вкладывала аккуратно сложенную купюру в ладонь отца Аурели, который всегда спешил поприветствовать сеньору, делая вид, что приветствует и других верующих. Несколько раз в год она спрашивала его, в каком состоянии находится Процесс, и отец Аурели Бага, который всегда боялся этого вопроса, вынужден был ехать в Сеу, чтобы поинтересоваться истинным состоянием Процесса, узнавал об истинном состоянии Процесса, а затем слегка подслащивал ответ, который сеньора выслушивала, не проронив ни слова. В такие неловкие моменты отец Аурели Бага всегда приходил к выводу, что сторицей отработывает щедрые подношения сеньоры Вилабру.

Раз в месяц в приходскую церковь Торены приезжал отслужить мессу старый каноник Аугуст Вилабру, и его племянница Элизенда внимала проповеди с тем же благоговением, что и всегда. Отец Аугуст в свои девяносто с лишним лет настолько одряхлел, что уже не сразу понимал, что такое эргодические свойства случайных процессов в компактных метрических пространствах; при чтении у него воспалялись глаза, а формулы превращались в мелькающие перед глазами мушки, и единственным его горячим желанием было помолодеть лет на тридцать, чтобы стать свидетелем новых путей развития математики; говорил он очень мало и смотрел на все печальным взглядом старого охотничьего пса.

Хотя сеньора Элизенда трижды или четырежды в месяц предавалась греху, она полагала, что отца Аурели Баги это не касается, а посему, когда исповедовалась, об этом даже не упоминала. С другой стороны, она с каждым разом все чаще грешила в квартире в Педральбесе, нежели в деревне, поскольку не хотела, чтобы ее страстные крики слышали в Торене. Никто не должен был этого слышать. Никто. Даже добропорядочные семьи, приверженные Франко, из дома Бирулес, дома Савина, дома Мажалс или дома Нарсис не имели права вторгаться в ее приватный мир. И меньше всего Сесилия Басконес – как дама в высшей степени недостойная. Сеньора Элизенда приняла решение не обзаводиться в Торене друзьями. Она жила там, чтобы

напомнить некоторым индивидам, что это она – победительница. И чтобы раз в месяц, шел ли дождь, или падал снег, посетить кладбище. И выдержать взор Божий.

Она очень внимательно прочла то, что было написано в билете, словно он таил в себе решение ее проблем. По крайней мере, она твердо решила, что настала ее очередь двигать фигуры на игровом поле.

Она выехала из Торены на рассвете. По дороге, нескончаемой дороге в аэропорт Барселоны, обсудила ряд важных вопросов с адвокатом Газулем и уже на парковке попросила оставить ее наедине с Хасинто. Тот опустил разделявшую их стеклянную перегородку, пошевелил крыльями носа, дабы опьянеть от аромата нарда, и, не поворачивая головы, выслушал инструкции сеньоры. Он хорошо усвоил все детали относительно того, что необходимо сделать, чтобы пресечь на корню печальную историю, в которую Марсел угодил с этой сучкой-хиппи.

– Когда я вернусь, чтобы ни одного даже тлеющего уголька не оставалось.

– Все будет потушено.

– Спасибо, Хасинто.

У него перехватило дыхание, как всегда, когда она говорила очень хорошо, Хасинто, ты все делаешь очень хорошо. Однако он ограничился тем, что бесстрастно произнес счастливого пути, сеньора.

Она вернулась на ночном поезде, усталая, грустная и, главное, с ощущением ущемленного достоинства, поскольку, несмотря на крайнее возмущение, она каждые пять минут думала вот сейчас откроется дверь, войдет Марсел, и я скажу ты просто сукин сын, потому что о таких вещах предупреждают заранее, но, если хочешь, можем это обсудить, договорились? Но Марсел в дверях вагона так и не появился, ибо в этот самый момент он заливался соловьем перед матерью о том, как великолепны новые трассы в Санкт-Морице (в полном соответствии с каталогом), а сеньора Элизенда, которая уже держала в руке билет на рейс в Фьюмичино, терпеливо выслушивала его, думая с кем же ты связался, дорогой, если свихнулся настолько, что изобретаешь все эти бредни, это ты-то, который лишний раз даже пальцем не пошевелит, чтобы, не дай бог, не совершить ненужное усилие.

Рамона готова была признать, что поступила опрометчиво и что ничего особенно плохого в том, чтобы быть миллионером, в общем-то, нет, и намеревалась уже позвонить Марселу, когда в ее студенческую квартиру явился Хасинто Мас, который провел с девушкой весьма занимательную беседу. Она сидела на кровати, а он стоял перед ней с сигаретой во рту, которая вынуждала его слегка прикрывать глаза, поглаживал пальцем шрам на лице, как это бывало всегда, когда он размышлял, и время от времени бросал взгляд на ароматическую палочку, купленную на рынке Энкантс и дымившуюся теперь на ночном столике.

– В общем, сама решай.

Рамона посмотрела на него. Она была в полной растерянности. Словно угадав смятенное состояние девушки, Хасинто вытащил из кармана объемистый конверт и положил на кровать рядом с Рамоной. Она не пошевелилась, чтобы взять его, хотя, по мнению Хасинто, умирала от желания узнать, что там.

– Этого хватит на то, чтобы два года снимать новую квартиру.

Тогда Рамона взяла конверт и открыла его. Хасинто уже знал, что партию он выиграл. Девушка в полном ошеломлении перебирала толстую пачку банкнот.

– Там все, – успокоил ее Хасинто Мас. – Все, что я пообещал. – Он протянул руку. – Ну давай, пересчитай...

Девушка вынула пачку из конверта и, нисколько не смущаясь, старательно пересчитала деньги. Мужчина спокойно ждал, пока она закончит, не глядя на нее и используя сложенную ладонь в качестве пепельницы, поскольку никакой другой не обнаружил. Потом сказал если я

вдруг узнаю, что ты попыталась увидаться с Марселом, будь то на факультете или еще где-то, я найду тебя, отниму все бабки, обвиню тебя в вымогательстве и сброшу с балкона. Тебе ясно?

Рамона даже не взглянула на него. Волосы у нее были распущены и почти закрывали лицо, и Хасинто подумал, что девица весьма недурна собой и что ему до чертиков надоело подтирать за Марселом всякий раз, когда тот в очередной раз усложнял себе жизнь. Так поняла меня эта девица или нет?

– Вы отец Марсела?

Ах, если бы! Представить только, какие ночи, какие стоны, какое райское блаженство!

– Да.

Все было решено, и Хасинто помог ей сложить вещи в чемодан и отвез в новое жилище в старинном доме в районе Равал, на квартиру, где было много странных запахов и мало света, но достаточно большую для размещения всех ароматических палочек, какие только существуют в мире. А ведь она могла бы стать миллионершей...

Не найдя девушку в прежней студенческой квартирке, Марсел безутешно оплакивал ее на протяжении нескольких месяцев и, не увидев ее больше ни в аудитории, ни в университетском дворе, ни в факультетском кафе, счел ее святой, ибо она предпочла остаться верной своей идеологии, не поддавшись соблазну легкой жизни. С тех пор всякий раз, когда его спрашивали о его времяпрепровождении в мае шестьдесят восьмого года, он мрачно отвечал, что это был период глубоких переживаний, и отказывался вдаваться в детали. На поезде он больше никогда не ездил. И так никогда больше и не увидел Рамону и даже не знал, удалось ли ей в конце концов стать писательницей.

Помещение было ослепительно-чистым, ибо физическая чистота есть символ и предтеча чистоты духовной. Распятие с бледной, бескровной фигурой Спасителя, прикрепленное к стене на достаточной высоте, дабы не служить ничему помехой, безмолвно руководило всеми переговорами, что велись в тиши сего важного кабинета. Стол, покрытый многочисленными слоями лака, блестел, как зеркало. Она сидела сбоку перед разложенными на столе документами, на подписях под которыми еще не высохли чернила.

– Если институт действительно ускорит или поспособствует ускорению Процесса, – сказала она, движением бровей указывая на документацию, – вы даже не представляете себе, ваше преосвященство, как велика будет моя благодарность.

Монсеньор Хосемария Эскрива де Балагер-и-Албас, доктор права, доктор священной теологии, профессор римского права, профессор философии и деонтологии, ректор фонда Святой Елизаветы, домашний прелат его святейшества Павла VI, почетный академик Папской римской богословской академии, советник Святой конгрегации семинарий и университетов, основатель и руководитель Опус Деи, член епископата Арагона, почетный доктор Сарагосского университета, главный канцлер Наваррского университета, почетный гражданин Барбастро, почетный гражданин Барселоны, почетный гражданин Памплоны, кавалер Большого креста Святого Раймунда Пеньяфортского, Большого креста Альфонса X Мудрого, Большого креста Изабеллы Католической, Большого креста Карлоса III с белой каймой, Большого креста благотворительности и маркиз де Перальта, смиренно склонил голову и в высшей степени любезным тоном сказал кто, как не я, заинтересован в том, чтобы Процесс разрешился самым благоприятным образом. После чего раскинул руки, словно заключая в дружеские объятия стол, сеньору Элизенду Вилабру, щедрый дар и предоставленную и подписанную документацию, и объявил я поручу это лично монсеньору Альваро дель Портильо.

– А чем объясняется молчание в ответ на мою личную просьбу о вступлении в институт?

Монсеньор соединил руки и уселся с противоположной стороны стола. В наступившей тишине Элизенда слышала далекий и приглушенный толстыми стенами шум римского город-

ского транспорта. Она посмотрела прямо в глаза собеседнику, будто говоря отвечай, я не собираюсь сидеть тут весь день. Словно услышав ее, тот ответил:

– Хотя ваша общественная жизнь по-христиански образцова, в вашей частной жизни есть один аспект, дорогая сеньора, который может вызвать скандал. И позор тому, кто породил сию неблагоприятную ситуацию, ибо ему следовало бы...

– Я не могу спровоцировать никакого скандала, – перебила она его, еле сдерживая возмущение, – поскольку никому об этом аспекте моей частной жизни не известно. – И с некоторым презрением: – И каким же образом это стало известно вашему преосвященству?

Монсеньор Хосемария Эскрива де Балагер-и-Албас, доктор права, доктор священной теологии, профессор римского права, профессор философии и деонтологии, ректор фонда Святой Елизаветы, домашний прелат его святейшества Павла VI, почетный академик Папской римской богословской академии, советник Святой конгрегации семинарий и университетов, основатель и руководитель Опус Деи, член епископата Арагона, почетный доктор Сарагосского университета, главный канцлер Наваррского университета, почетный гражданин Барбастро, почетный гражданин Барселоны, почетный гражданин Памплоны, кавалер Большого креста Святого Раймунда Пеньяфортского, Большого креста Альфонса X Мудрого, Большого креста Изабеллы Католической, Большого креста Карлоса III с белой каймой, Большого креста благотворительности и маркиз де Перальта, улыбнулся и предпочел перевести взгляд на гардины в глубине кабинета.

16

Бибиана взглянула ему в глаза и тут же угадала все несчастья, которые этот мужчина принесет ее девочке. Она отступила на шаг назад и пригласила его пройти внутрь. Провела его в гостиную и оставила одного. Он огляделся вокруг. Над камином – законченный портрет его Элизенды. Холст и портьеры на окнах все еще пропитаны запахом краски. Да, она восхитительна.

– Привет.

Ориол вздрогнул от неожиданности и обернулся. Внимательно посмотрел на нее, словно сравнивая портрет с оригиналом. Сегодня была еще элегантнее, чем на картине, если только это возможно. Часы мерно и торжественно выводили свой тик-так, а снаружи слегка постукивал по стене ставень. Ориол приблизился к Элизенде. Ему так хотелось взять в ладони ее руки, похожие на крылья лесной голубки. Что случилось, безмолвно спросили эти глаза цвета меди.

– Алькальд Тарга хочет убить мальчика.

– Да что ты такое говоришь? – ужаснулась она.

Он рассказал ей, что произошло. Она молча выслушала его. Ориол уверял, что ему не удалось отговорить алькальда. И что Роза была возмущена. Больше чем возмущена его поведением. Еще добавил, что с каждым днем Роза держится все холоднее и отстраненнее с ним. Не далее как сегодня, когда он вернулся из школы, она бросила ему знаешь, что мне рассказали? Он с любопытством взглянул на нее, снимая куртку.

– Что это ты донес на Жоана Вентурету.

– Я?

– Что ты слышал, как его сестры говорят об отце. Якобы он тайком по ночам приходит домой.

– И кто это говорит?

– Да все.

– Роза...

– Если ты ничего не предпримешь... я тоже в это поверю.

Ориол удрученно опустил в кресло. Как это кто-то мог поверить, что он...

– Но что я могу сделать? Я на коленях умолял алькальда оставить мальчика в покое. К тому же не думаю, что он это сделает, Роза, я уверен, что нет.

– В деревне говорят, что он вполне способен на это и даже на большее. А люди из Алтрона, которые хорошо его знают, говорят, что он негодяй, каких мало.

– А я говорю тебе, что он этого не сделает. Это невозможно.

– Давай поедem в Сорт и заявим на него. Посмотрим, что там скажут.

– Да они просто посмеются над нами. А нет, так потом шкуру с нас спустят.

– Ты трус.

– Да. Но поверь, Тарга не убьет его. И знай, я ни на кого не доносил!

Ужасно, что моя собственная жена так обо мне думает, сказал Ориол. И, ощущая себя в какой-то степени своим в этом доме, даже не спросив разрешения, без сил упал в кресло. Элизенда села в соседнее и взяла его за руку. Она была очень серьезна, но ничего не говорила.

– Ведь ты имеешь влияние на этого человека, – взмолился Ориол.

Элизенда задержала его ладонь в своей, и, несмотря на полное отчаяние, Ориол ощутил приятную дрожь во всем теле.

– Я не имею влияния ни на кого...

– Да, но говорят...

Лучше бы он вовремя язык прикусил, но было уже поздно.

– Что говорят?

– Да нет, ничего.

Она отпустила его руку так, словно выбросила в корзину для бумаг скомканный листочек. Он заметил, что она напряглась. Однако тон у нее не изменился.

– Так что говорят?

Ориол посмотрел на нее. Он впервые видел ее такой серьезной. Впервые она смотрела на него совсем не теми глазами, которые он сумел запечатлеть на портрете. Ему волей-неволей пришлось как-то отреагировать на ее вопрос.

– Ну... говорят, что здесь, в Торене, Тарга сводит счеты с людьми, которые...

Элизенда встала и закончила фразу, которую Ориол подвесил на люстру:

– С людьми из деревни, которые убили моих отца и брата, да?

– Ну вот.

– Неужели тебе тоже надо напоминать, что у меня нет ничего общего с этим троглодитом?

– Да нет, что ты...

– Когда я год назад вернулась, все, к сожалению, уже было сделано... К тому же счеты сводились повсюду. – Она отвернулась от него и застыла перед камином, словно любуясь портретом. – А вообще-то, я не обязана тебе ничего объяснять.

Теперь она снова повернулась к нему, как будто намеревалась позировать художнику, стоя перед ним вполоборота, но при этом почти фронтально развернув лицо. Однако вместо того, чтобы спросить: так хорошо, она сухо кивнула головой и резко сказала уходи. Чуть не плача, Ориол поднялся с кресла, проклиная тот день, когда он стал учителем в этой деревне и согласился запечатлеть на холсте тело прекраснейшей, ненавистной и восхитительной женщины. Когда он уже был в дверях, услышал, как Элизенда говорит с мальчиком ничего не случится, не беспокойся.

17

Это был самый напряженный ужин из всех, какие помнила Тина. Ее мужчины, опустив глаза, прилежно ели суп. Она взглянула на них и, чтобы начать разговор, спросила ты знаешь, когда мы сможем тебя навестить; измученный Жорди сурово произнес, что ни за что не будет его навещать, а Арнау, обращаясь только к матери, ответил не знаю, но как только узнаю, тут

же вам сообщу, мне будет очень приятно, если вы приедете. Или ты одна. Следующая четверть часа ушла на то, чтобы переварить последнюю фразу, предполагавшую исключение Жорди не только из беседы, но и из будущего. Наконец Тина нарушила молчание, сказав не знаю даже, я совсем не представляю тебя в черных одеждах, с молитвенником в руках или поющим в церковном хоре. Это так же необычно, как если бы ты сделал меня бабушкой; это был единственный момент во время сей тайной вечера, когда Арнау засмеялся, даже разразился хохотом; Тина была убеждена, что Жорди с трудом сдерживается, чтобы не рассмеяться, но он был ужасно упрямым и не мог отказаться от роли, которую уже начал играть, а посему не позволил себе даже улыбнуться, как бы ему этого ни хотелось. Вместо этого, доедая омлет, он проявил явное отсутствие такта, заметив тебе будет очень не хватать женщин.

– Да. Я знаю.

– Так зачем ты все это делаешь?

– Совсем из других соображений. – Сын отпил воды из стакана. – Не знаю, интересуют ли они тебя.

– Меня точно интересуют, – еле слышно сказала Тина.

Тогда Арнау заговорил с ними, как Христос со своими учениками; он рассказывал им о святом причастии, о ценности молитвы, об *ora et labora*, о смысле, который он находил в монашеской жизни, или монашеском выборе, как он говорил. О значимости богослужебного круга, о смысле литургии, о том, что он просил о принятии его в аббатство Монтсеррат с намерением остаться в монастыре – отныне и на всю жизнь. Что он не знал, сочтут ли его достойным принять священнический сан, но самым важным для него было принять постриг. Когда он сказал на всю жизнь, Тине почему-то показалось, что он сказал на всю смерть, и она отчетливо услышала погребальный лязг опускающейся на гроб могильной плиты вроде тех, что изготавливает Серральяк. Арнау говорил очень спокойно, своим обычным размеренным тоном, не стремясь никого обратить в свою веру или наставить на путь истинный, а лишь выражая свою сугубо личную радость по поводу того, что начинается новый этап в его жизни, и он предпочел бы ехать туда один, так будет лучше. Да нет, правда, не нужно. Он не хочет, чтобы его сопровождали. Его родители, перекатывая в полном молчании оставшиеся на скатерти хлебные крошки, даже не осмеливались взглянуть друг на друга. Они слушали своего сына и с огромной болью в душе думали, как это его смогли одурачить подобными баснями, боже мой, святое причастие, Арнау, ведь ты казался спокойным, уравновешенным, умным, образованным и работающим парнем. Во имя чего, бог мой, и за какие такие коврижки эти профессиональные манипуляторы душ человеческих тебе вывернули наизнанку все мозги?

Они молча вымыли посуду. Им даже в голову не пришло включить телевизор, это показалось совершенно неуместным. Потом все трое уселись в кресла, и Жорди закурил трубку. Никто ничего не сказал, но молчание не было неловким. Такая своеобразная мрачная форма прощания, ибо похоже, ты больше уже не вернешься в родной дом, это в том случае, если мы с твоим отцом по-прежнему будем жить вместе. Жорди уже почти докурил свою трубку, когда Тина почувствовала знакомый укол: три дня без боли, и вот надо же, именно сейчас. Она отряхнулась от черного облака своей памяти, встала и вышла из комнаты. Уже из кабинета услышала, как Жорди говорит сыну заточив себя в монастырь, ты лишишь себя богатства культурного разнообразия, которое с каждым днем становится все более осязаемым. Арнау что-то ответил так тихо, что Тина не расслышала. Ах, Жорди, ну что за зануда, даже не знает, что сказать сыну. Впрочем, как и я. Я могла бы сказать если ты уйдешь в Монтсеррат, то не встретишь женщину, которая могла бы полюбить тебя глубоко и сильно. А я умру от горя. Но этого говорить нельзя. Тина вернулась в гостиную с пакетом в руках:

– Это тебе.

Она протянула пакет Арнау; юноша этого не ожидал. Он развернул пакет с тем же любопытством, с каким на него смотрел Жорди, который тоже пребывал в неведении относительно его содержимого. Это был альбом с лучшими фотографиями, которые Тина снимала на протяжении двадцати лет, с первого зевка маленького ротика в роддоме (ах, какая же это гордость – стать матерью и отвечать за жизнь человеческого существа) до прошлого лета, когда он вернулся, загорелый и повзрослевший, из трудового лагеря французской НПО, действовавшей на территории Боснии. Он стоял рядом с Жорди, улыбавшимся в объектив камеры и к тому времени уже точно спутавшимся с неизвестной ей женщиной, потому что Реном уже тогда видела его в Лериде, в то время как он должен был находиться совсем в другом месте.

Арнау долго и внимательно рассматривал фотографии. Тина была уверена, что сумела растрогать его, но юноша не желает этого демонстрировать. Она заметила, что он быстро перевернул страницу со своей фотографией, сделанной в девятнадцать лет, где он был запечатлен на фоне елей и горных вершин, со взглядом, устремленным в далекие грезы, что за красавчик мой сын, а ведь это я его родила. Снимок, которым можно гордиться; сын, который выбивает почву из-под ног.

Спать пошли очень поздно, словно не желая, чтобы эти минуты тишины, пока они еще все вместе, заканчивались. Следует признать, что Жорди держался весьма неплохо и не устраивал никаких сцен; видимо, сдерживал эмоции до того момента, когда они останутся вдвоем. Поэтому Тина предпочла не отправляться в постель одновременно с мужем.

– Я разбужу вас утром, – сказал Арнау, заводя будильник.

– Не понимаю, почему ты должен ехать так рано.

– Спокойной ночи, Арнау.

– Спокойной ночи, папа. – Прежде чем закрыть дверь своей комнаты, он нежно поцеловал мать. – Спасибо за фотографии, – сказал он, – они меня очень порадовали.

Войдя в спальню, Арнау сел на край кровати. Машинально стал поглаживать Юрия, устроившегося посередине матраса. Кот жалобно мяукнул и подвинулся поближе к Арнау, у которого вдруг случилось прозрение или что-то в этом роде, и он сказал а ведь я тебя больше никогда не увижу, Юрий Андреевич. Родителей увижу, а тебя нет. После того как он стойко перенес последнюю семейную вечерю, последнюю беседу за домашним столом, последнее мытье посуды, последний подарок в виде снимков всей своей жизни, печаль обескураженной матери и гнев обезоруженного отца, только теперь, когда он гладил Юрия... вдруг на глаза навернулись слезы, которых он никак не ожидал, и он вновь подумал больше я тебя никогда не увижу, Юрий Андреевич, потому что ты очень старый. Доктор Живаго, охваченный непривычными эмоциями, ответил энергичным зевком и немедленно спрыгнул с кровати в поисках причины неизвестно откуда раздавшегося звука, поскольку с молодым хозяином он бесед никогда не вел.

И что теперь, думала Тина, сидя перед компьютером в ожидании, пока Жорди захрапит. Ни сына, ни мужа. Она открыла папку, которую ей дала Жоана, и вновь наткнулась на историю смерти Ориола Фонтельеса. Перечитала ее. Потом с помощью лупы стала разглядывать лица двух фалангистов на снимке чернильного цвета. Оба были в форме. Тот, кого она считала Ориолом, поскольку он выглядел моложе, был высоким и с растрепанными волосами. Второй был зрелым мужчиной, смуглым, с зализанными назад волосами и тонкими, аккуратно подстриженными усиками. Она принялась перечитывать статью: честный человек, трудолюбивый педагог, герой и мученик. Потом стала представлять себе, как все произошло, чтобы не думать об Арнау. Решила перечитать обнаруженные в школе тетради, исписанные мелким четким почерком. Жорди все еще не храпел. Дорогая моя доченька, не знаю, как тебя зовут. Так он начинал свое послание. Дорогая моя доченька, не знаю, как тебя зовут, но знаю, что ты существуешь, потому что видел твою ручку, маленькую и нежную. Мне бы хотелось, чтобы, когда ты вырастешь, кто-нибудь показал тебе эти строки, потому что я хочу, чтобы ты их про-

чла. Меня пугает то, что тебе могут обо мне рассказать, особенно твоя мать. Поэтому я пишу тебе это письмо, которое будет очень длинным, и наверняка, когда оно дойдет до тебя, меня уже не будет в живых. Но ты не слишком опечалишься, потому что, скорее всего, так и не узнаешь меня. Знаешь что? У меня такое ощущение, что это письмо – как свет звезд: когда ты его получишь, меня уже много, очень много лет не будет в живых. Дорогая моя доченька, не знаю, как тебя зовут. Дорогой мой сынок Арнау, я знаю, как тебя зовут, но не знаю, какой ты.

Именно тогда она решила перепечатать текст всех четырех тетрадей. И опубликовать их, чтобы сохранить память о человеке, потерпевшем поражение. И еще она сказала себе, что завтра, когда она запечатлеет последний поцелуй на щеке сына, она скажет, что ужасно его любит, и попросит, чтобы он простил ее, потому что она не сумела сделать все иначе. И еще скажет, что боится идти к врачу, потому что не знает, что тот ей скажет. Она скажет все это сыну, когда заключит его в последнее объятие. Потом Тина аккуратно сложила тетрадки в коробку и отправилась в постель, чтобы погрузиться в храп Жорди.

Насколько Тина помнила, Арнау впервые намеренно обманул их. В семь тридцать утра, когда зазвенел будильник, призывавший их отправляться в школу, они, к своему огорчению, обнаружили, что их сын уже несколько часов как бесшумно исчез из их жизни.

18

Она ждала ее стоя, опершись на трость. Служанка оставила их наедине. У сеньоры Элизенды был печальный и несколько рассеянный взгляд, устремленный на стену. Она села и продолжала смотреть куда-то вдаль, полностью игнорируя посетительницу. Потом пошевелила тростью, похоже приглашая гостью сесть. И только тогда Тина поняла, что эта старуха с таким живым взглядом слепа. Испытывая неловкость, она опустилась на диван напротив хозяйки. Могли бы меня предупредить, что сеньора из дома Грават слепа. Она без всякого стеснения окинула взглядом гостиную. Она была обставлена со вкусом и явным стремлением к удобству. Картины в глубине комнаты напоминали работы Уржеля, Вайреды и Вансельса и, вполне возможно, были подлинниками. Возле камина – то ли секретер, то ли комод, весь заставленный фотографиями в рамках. Над камином – портрет молодой, поразительно красивой женщины, руки которой, словно крылья лесной голубки, таили в себе трепетное желание взлететь, но вместо этого нежно держали раскрытую книгу. По взгляду, по глазам Тина поняла, что это портрет сидевшей перед ней сеньоры.

Молчаливая служанка принесла чай и принялась расставлять чашки. Пока она не вышла из комнаты, сеньора Элизенда хранила молчание. Потом бросила, словно продолжая давно начатую беседу:

– Так что это за вопросы по поводу какой-то там книги?

Тина вынула из портфеля одну из тетрадей Ориола и наугад раскрыла ее:

– Это не совсем книга, скорее тетрадь. Вернее, несколько тетрадей. Мне бы хотелось, чтобы вы на них взглянули. – Она протянула тетрадь, но тут же, смутившись, отдернула руку. – Простите.

– О чем идет речь?

– Вы ведь были знакомы с Ориолом Фонтельесом, не так ли?

В комнате повисла густая, тяжелая, мрачная тишина. Тина почувствовала неловкость и посмотрела по сторонам, словно ожидая, что сейчас кто-то сюда войдет; потом закрыла тетрадь.

– Разумеется, я с ним знакома, – сказала дама. Тина заметила, что, несмотря на то что дама слишком худа и восемьдесят пять лет ее явно непростой жизни оставили неизгладимый

след на ее лице, в ее чертах все еще угадываются остатки прежней красоты, никак не желающей покинуть ее.

– Я ищу его дочь. И жену, если она еще жива.

Сеньора сделала паузу, короткую, очень короткую, однако Тина ее заметила.

– С какой целью? – спросила она наконец.

У нее даже тембр голоса изменился. Тина молча вернула тетрадь обратно в портфель.

– Понимаете... Я готовлю книгу и альбом с фотографиями Пальярса и... – Сеньора повернулась на голос, и Тине показалось, что ее мертвый взгляд, такой же пронзительный, как у Арнау, проникает в самую глубину ее существа.

Она с трудом продолжила:

– И... и мне хотелось бы включить туда фотографии дома Грават.

– А зачем вы хотите поговорить с дочерью сеньора Фонтельеса?

– Ну... понимаете... я нашла несколько писем и...

– Ориола? – Несколько секунд, чтобы взять себя в руки. – Сеньора Фонтельеса?

Молчание. Обе женщины напряглись. Уже много лет сеньора Элизенда не чувствовала себя такой обескураженной.

– Где вы их обнаружили?

– Так вы скажете мне, где я могу найти дочь Фонтельеса, или нет?

Сеньора Элизенда поднялась, опираясь на трость. Она привыкла повелевать с семи лет, когда ее мать в одночасье исчезла из дома. В семнадцать лет, когда отец организовал для нее первый взрослый праздник, на который в Торену приехала группа политиков и финансистов, никогда прежде не бывавших в далеких горных селениях, где можно испачкать ботинки, она поняла, что ее ум и ее красота убийственно действуют на мужчин и могут ей весьма пригодиться. С тех пор она хорошо усвоила: немного ловкости и сноровки, и она всегда добьется своего. Чтобы доказать это, она перестала разговаривать со всеми мужчинами, которые пытались за ней ухаживать, и ограничилась тем, что отдавала им распоряжения. И это был истинный успех: она легко подчинила себе всех окружавших ее особей мужского пола, включая Жозепа и отца. И Бибиана, сидя на краешке кровати и маленькими глотками отпивая ромашковый чай, думала а я всегда знала, что эта девчушка – самая сметливая из всех. Но ошибка Элизенды состояла в том, что теперь она полагала, что легко может покорить весь мир, и никто не предупредил ее, а она сама не догадалась, что бывают моменты, когда жизнь начинает слишком сильно давить на тебя и надо уметь вовремя согнуться, дабы окружающий воздух не разнес тебя на куски. Ее сердце разорвалось на мелкие кусочки двадцатого июля тридцать шестого года, когда шайка анархистов из Тремпа, подстрекаемая, вдохновляемая и ведомая завистливыми убийцами из их деревни, расстреляла ее отца и брата, заставив ее вступить на единственно возможный путь: ничто не будет забыто. Ничто и никогда, Бибиана, клянусь тебе.

– Вам следовало бы показать мне эти письма.

– Нет. Они личные и вас не касаются.

– Нет ничего, связанного с Ориолом Фонтельесом, что бы меня не касалось.

– Что вы имеете в виду?

– Я инициировала, финансировала и всячески поддерживала процесс его беатификации.

– Что вы хотите этим сказать?

Сеньора Вилабру вновь села. Она восстановила контроль над ситуацией и не желала вновь его утратить.

– Этой весной святой отец причислит Досточтимого Ориола Фонтельеса к лику Блаженных.

– Вы шутите?

– А вы что, ничего не слышали об этом?

– О беатификации Фонтельеса?

– Именно.

– Нет. Эти вопросы... – у нее промелькнула мысль об Арнау, – далеки от моих интересов.

– Сеньора. – Тон, лицо, жесты – все в этой женщине внезапно изменилось. – Ориол Фонтельес был большим другом этого дома. Большим другом в весьма трудные моменты, а также мучеником Святой Церкви. – Она неуверенным жестом слепого протянула руку к Тине. – Поэтому я хотела бы, чтобы вы оставили мне на несколько дней эти...

– Простите, мы говорим об одном и том же человеке? Потому что, если судить по тому, что написано в тетрадах... на святого он не похож.

Сеньора Элизенда повела тростью в сторону камина. Ее конец точно указывал на одну из стоявших на полке фотографий.

– Вот он. Другого не существовало.

Тина встала и подошла к камину. Крупный план Ориола Фонтельеса, смотрящего в будущее, которого у него не было. То же выражение лица, тот же изгиб губ, что и на автопортрете, который он сделал перед зеркалом школьного туалета. Но теперь на нем была форма фалангиста. Это был увеличенный фрагмент снимка, на котором он был запечатлен вместе с Валенти Таргой. Та же самая фотография, видимо, другой и не было. На полке стояли фотографии и каких-то других людей. Наверняка родственников сеньоры. На одной из них – каноник или кто-то в этом роде в обществе еще одного мужчины в саду дома Грават. Другая, будто специально выставленная на всеобщее обозрение фотография, в серебряной рамке, запечатлела рукопожатие той, в ком без труда можно было узнать сеньору Элизенду, только гораздо более молодую, и улыбающегося генерала Франко в окружении людей в военной форме, источающих радужные, пожалуй даже слишком радужные, улыбки. Единственным, кто не улыбался на этом снимке, была она. А еще фотографии смутно кого-то напоминающего мальчика в разные периоды его жизни. И другие незнакомые люди.

– Да, это тот же человек, – признала Тина. – Я не знала, что...

– Вы просто обязаны дать мне эти письма. Почему вы говорите, что на святого он не похож?

– Письма предназначались его дочери. Я не могу...

– У сеньора Ориола не было никакой дочери.

– Нет, была.

– Уверяю вас, не было.

– А его жена?

– Она умерла приблизительно в то же время, что и он.

– Какое совпадение.

– Это мы были семьей Ориола.

– Да, но...

– Я единственный живой свидетель его гибели.

– Вы?

Сеньора Элизенда указала тростью на диван; Тина перестала разглядывать фотографии и села, как ей велела сеньора. Тогда сеньора Элизенда сказала трагедия состоит в том, что с течением времени из людской памяти стираются даже героические поступки, но мои воспоминания сотрет лишь смерть. В тот вечер здесь все бурлило и кипело. Алькальд Тарга вместе со своими людьми совершал обход, чтобы не позволить банде партизан прорваться в Торену и совершить здесь зверства, потому что маки приступили к захвату Валь-д'Арана, хотя вряд ли вы знаете, о чем идет речь. А в это время вышеупомянутый кандидат в Досточтимые, мученик и слуга Божий Ориол Фонтельес Грау, находился в школе, исполняя свой долг учителя. Уже было поздно, но он всегда задерживался в классе допоздна, поскольку превратил свою профессию в форму существования. Все дети Торены, все родители детей Торены могут подтвердить, сколь самоотверженно он отдавал всего себя делу обучения деревенских детей жиз-

ненным истинам и католической религии. С тех пор как он приехал сюда, многое в деревне стало меняться в лучшую сторону, ибо он был способен вселить мир и спокойствие в семьи, разобщенные войной. Мы можем предоставить все свидетельства и установить очередность всех событий, которые привели вышеозначенного кандидата в Досточтимые, слугу Божьего Ориола Фонтельеса Грау, к праведному мученичеству. Итак, события разворачивались следующим образом: в восемь часов вечера девятнадцатого октября тысяча девятьсот сорок четвертого года, после утомительного рабочего дня в школе, Ориол Фонтельес заметил свет в церкви Сант-Пере. Он был очень удивлен, поскольку настоятель церкви отец Аурели Бага Рибба, ныне, кстати, прилежный постулатор данного Процесса, уже два дня пребывал в Сеу-д'Уржелль по случаю рабочего визита к сеньору епископу. Будучи человеком неравнодушным и истинным ревнителем благочестия, будущий Досточтимый бросился в церковь, дабы узнать, что там происходит. Едва он открыл дверь храма, как стал свидетелем ужасной и жестокой действительности: шайка маки, партизан, бандитов, коммунистов, сепаратистов и анархистов пыталась завладеть дарохранительницей, в которой хранились Святые Дары, с очевидным намерением переплавить в слитки те немногие золотые детали, что в ней были. Наш постулант, пришедший в ужас от сего зрелища, возмущенный и разгневанный, издал страшный крик, который насторожил Валенти Таргу Сау, в то время алькальда Торены, и сеньору Элизенду Вилабру Рамис, ныне выступающих свидетелями по делу о беатификации. Последним удалось проникнуть в церковь и в полном бессилии (ибо у них не было никакого оружия) наблюдать из угла акт мученичества названного постуланта. Итак, по свидетельству вышеупомянутых Тарги и Вилабру, они вынуждены были, оцепенев от ужаса и бессилия, созерцать следующую картину: слуга Божий Ориол Фонтельес бесстрашно бросился к нечестивым агрессорам, проклиная их и призывая отказаться от сего страшного богохульства. Партизаны же, не обращая ни малейшего внимания на его мольбы, лишь смеялись и угрожали ему смертью. Однако, несмотря на серьезные прямые угрозы, постулант пренебрег опасностью и смело направился к дарохранительнице.

Свидетели заявляют, что все, что они видели и удостоверяют, является чистой правдой, и утверждают, что слуга Божий Ориол Фонтельес, возмущенный демонстративной непочтительностью группы святотатцев, резко оттолкнул двоих из них и подошел к алтарю. Остолбенев от неожиданности, налетчики не сразу прореагировали на сей смелый шаг, и постулант успел крепко обхватить руками дарохранительницу. Командир преступников потребовал, чтобы он немедленно отошел от алтаря, но Ориол Фонтельес ответил, что, пока он жив, он оттуда не уйдет. Что он готов отдать жизнь за дарохранительницу, Святые Дары и за Святую Мать Церковь (дословная цитата). После некоторого колебания командир бандитов (печальной памяти бывший контрабандист по фамилии Эспландиу) хладнокровно прицелился в мученика и выстрелил; пуля попала прямо в благородный лоб слуги Божьего, что повлекло за собой почти мгновенную смерть, согласно заключению судебного медика дона Самуэля Саэса де Самора, который произвел осмотр тела. Самый необычный факт, который мы хотим довести до сведения трибунала сего Процесса, состоял в том, что после того, как новомученик отдал свою жизнь за Католическую церковь, дарохранительницу и Святые Дары, как ни старались злодеи оттащить его тело от дарохранительницы, им это так и не удалось. Никакими смертными силами нельзя было оторвать его от святыни. Какое-то время, осыпая бездыханное тело ругательствами и проклятиями, они еще пытались что-то сделать, но потом командир приказал им спасаться бегством, пока не прибыли силы правопорядка. В память о своем зловещем рейде они бросили пару гранат, которые, взорвавшись, повредили северный фасад здания мэрии и вызвали небольшой пожар.

Сеньора Элизенда Вилабру Рамис свидетельствует, что, как только убийцы и богохульники покинули храм, она подбежала к мученику Ориолу и, пребывая под впечатлением от увиденного, не прилагая никаких усилий, с легкостью разомкнула руки постуланта, обнимавшие дарохранительницу. Сей факт удостоверяет вышеупомянутый Валенти Тарга, свидетель

ство которого прилагается. К документу также прилагается ценное свидетельство отца Аугуста Вилабру Брагулата, который немедленно, как только получил уведомление, явился на место событий и подтверждает все вышесказанное.

– Я обо всем этом понятия не имела. Вы меня просто ошеломили.

Сеньора Элизенда вела свой рассказ, низко склонив голову, словно так воспоминаниям было легче струиться по памяти. Закончив, она указала на чайный сервиз, и только теперь Тина осознала, что даже не притронулась к чаю. Она отпила из чашки и сказала, что в одном из журналов того времени она нашла несколько иную интерпретацию событий.

– Я знаю, но им не стоит верить. Они же ничего не видели.

На основании всего вышеизложенного мы завершаем сей Процесс, и в качестве прелата данной епархии заявляем, что постулятор сего дела подтверждает публичную славу, благочестивую жизнь, проявленные добродетели и чудеса слуги Божьего Ориола Фонтельеса Грау. Также мы удостоверяем, что был в полной мере соблюден декрет Урбано VIII об отсутствии преждевременного культа, и высказываем свое мнение о многократно упомянутых выше событиях. Что касается расследований, именуемых *processiculi diligentiarum*, то мы вынуждены констатировать, что помимо не представляющих ценности личных заметок и вполне обычной и заурядной почтовой корреспонденции мы не обнаружили никаких документов, дневников, записей, письменных размышлений, любого рода теологических или философских исследований, которые могли быть приложены к сему делу в качестве доводов как в пользу, так и против кандидата в Досточтимые. Исходя из вышесказанного сегодня, восемнадцатого октября тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года, спустя ровно десять лет со дня героической смерти постуланта, властью, данной нам Святой Матерью Церковью, мы объявляем, что в момент смерти сеньор Ориол Фонтельес Грау самым героическим образом проявил свои христианские добродетели, в связи с чем мы с полным основанием можем считать его истинным мучеником и объявляем его досточтимым.

В присутствии постулятора, преподобного отца Аурели Баги Рибы, настоятеля прихода, в котором произошли вышеописанные события, и главного нотариуса сего епископата, монсеньора Норберта Пуги Клозы, мы удостоверяем, что предварительный Процесс завершен и заверен печатью в полном соответствии с церковными предписаниями относительно процесса беатификации, который в будущем может быть возбужден в пользу Досточтимого Ориола Фонтельеса Грау. *Tenore praesentium indulgemus ut idem servus Dei venerabilis nomine nuncupetur.* Жоан, епископ Сеу.

– Вся ответственность за доставленную всем нам радость полностью лежит на вас, сеньора Вилабру, – сказал святой отец с блестящими от навернувшихся слез глазами. Потом он обратился ко всем присутствующим: – Вы даже представить себе не можете, сколько бы всего я отдал за то, чтобы увидеть момент, когда мы сможем поклониться образу святого, который стал таковым, если мне будет дозволено, в этой церкви.

– Вы еще много лет проживете, святой отец, – изрекла сеньора Элизенда.

Пере Казас из дома Мажалс изобразил на лице любезную улыбку. Улыбался он исключительно из приличия, по долгу службы, ибо это было первое мероприятие, на котором он присутствовал в качестве алькальда, и ему хотелось по возможности дистанцироваться от памяти, которую оставил о себе его предшественник. Они находились в обшарпанном зале заседаний мэрии, в котором алькальд, вдова Вилабру и члены муниципалитета принимали священника, дабы поговорить о будущем Блаженном и Святом нашей деревни. Ну вообще-то, он был не совсем из нашей деревни, черт возьми, ну да ладно, сделаем вид, что он тут родился.

– Дело о беатификации может быть открыто лишь по истечении пятидесяти лет со дня смерти Досточтимого.

– То есть в тысяча девятьсот девяносто четвертом году, – с сомнением произнес новый алькальд. Возможно, он представлял себе, что все еще будет руководить муниципальным советом.

– Сегодня великий день для нашего прихода, школы и всей деревни, – заявил святой отец, все еще горя энтузиазмом.

– И для Испании. – Алькальд с недоверием обвел взглядом собрание.

– Да, разумеется, – откликнулся кто-то в зале.

Затем они приступили к дегустации фаршированных оливок в память о Досточтимом и к обсуждению важнейшего вопроса: будут ли перила у будущего моста через Боскарро каменными или железными и в чем преимущества того и другого материала? Элизенда Вилабру отделилась от компании и стала смотреть на открывавшийся из окна уголок деревни со школой и церквущой Сант-Пере. Все выглядело таким же спокойным и безжизненным, как и в тот день, когда несколько лет назад она, как обычно, отправилась на исповедь и отец Аурели провел ее в ризницу и поведал о долгих беседах, которые он вел с ее дядюшкой, отцом Аугустом, и в результате которых я полностью присоединился к его твердому намерению поддерживать дело учителя-мученика (вы ведь тоже, как я понял, его поддерживаете, не так ли?); ваш дядя рассказал мне о впечатляющих подробностях образцовой жизни этого человека, и я принял решение выступить в качестве постулятора Процесса, разумеется при полной поддержке отца Аугуста. Я надеюсь на ваше сотрудничество, сеньора, равно как и на помощь другого непосредственного свидетеля событий. Далее отец Аурели подчеркнул, что хотя он не может утверждать это наверняка, но полагает, что если епископат признает чудо, о котором свидетельствуют документы дела, а именно невозможность отделить тело мученика от дарохранильницы, то его можно будет включить в будущий процесс беатификации. Священник, казалось, всеми порами своей кожи источал энтузиазм и уверенность в успехе, и сеньора Вилабру торжественно подтвердила свое согласие и заявила можете рассчитывать на мое содействие любого рода, включая и экономическое, святой отец. И в качестве доказательства приложила к его руке и с присущей ей ловкостью незаметно всунула ему в ладонь аккуратно сложенную купюру. Ну что ж. За работу!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.